



Елена Арсеньева
Царица без трона

«Автор»

2002

Арсеньева Е. А.

Царица без трона / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2002

ISBN 5-699-00765-2

Кровью и слезами полита дорога к трону, не бывает любви в браках венценосных особ... Вес это знала прекрасная польская паненка Марина Мнишек, но ничто не могло остановить ее в желании стать великой русской царицей. Влюбленный в нее без памяти безродный авантюрист, который выдает себя за царевича Димитрия и пытается захватить русский престол, готов бросить все к ногам Марины. Но гордая красавица требует лишь одного – стань царем, и тогда я твоя...

ISBN 5-699-00765-2

© Арсеньева Е. А., 2002

© Автор, 2002

Содержание

Декабрь 1605 года, Москва, Кремль, зимний дворец Дмитрия	6
Февраль 1606 года, Польское королевство, Самбор	9
Декабрь 1605 года, Москва	13
Март 1584 года, Москва, Кремль, палаты Ивана Грозного	18
Февраль 1601 года, Брачин, имение князя Адама Вишневецкого – Вот же сила нечистая... Как бы не помер. Куда я без него? Пропаду ведь!	23
Январь 1605 года, Выксунский монастырь	29
Сентябрь 1602 года, Москва	32
Май 1591 года, Углич, дворец царевича Дмитрия	38
Февраль 1601 года, имение князя Вишневецкого	40
Апрель 1605 года, Москва	45
Май 1591 года, Углич, дворец царевича Дмитрия	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Елена Арсеньева

Царица без трона

Я вам не Годунов!

Дмитрий I

Давно пророчили небеса недоброе, давно ниспосылали людям предупреждения и знамения. Так, еще лет за пять до свершения сего ужаса, в лето 1601-е от Рождества Христова, ночная стража стрельцов, идучи на смену караула в Кремль, видела, как над царскими палатами с западной стороны, от польской границы, промчалась по темному небесному своду колесница, запряженная шестерней. Ямщик был одет не как московиты одеваются, а в польский кунтуш. Раскрутив над головою бич, хлестнул им по ограде дворца и крикнул нечто оглушительное, ужасное, неразборчивое – крикнул на некоем нечеловеческом наречии, более всего напоминающем шипящий, змеиный говор польский. И было это столь страшно, столь пугающе, столь непереносимо взору и слуху, что стрельцы разбежались, зажимая уши и закрывая глаза, дабы ничего не слышать, дабы не зреть более сего знамения, кое, несомненно, пророчило погибель державы и даже прямо указывало, с какой стороны ждать беды.

И вот – дождались!

Бедна нагрянула с запада. С польских земель.

Шляхта пришла на Русь. А привел ее не кто иной, как сын Ивана Грозного.

Как же, сын царев! Всего-навсего поп-расстрига Отрепьев. Тварь богомерзкая, ублюдок невесть чей, пашенок и предатель.

Так уверяла царская грамота.

Декабрь 1605 года, Москва, Кремль, зимний дворец Дмитрия

Ее тело чудилось вылитым из сливок...

Ресницы полукружьями лежали на щеках. Темные брови были приподняты будто в удивлении.

Что ей снилось? Что изумляло в том мире, который сейчас прозревала ее бессонная бродячая душа?

Может быть, если Дмитрий теперь уснет, их души встретятся в мире видений, как уже не раз бывало: иногда они рассказывали друг другу сны, поражавшие диковинными, невысказанными совпадениями.

Дмитрий чуть приподнял голову, но встать не смог: мешали ее косы. Перед тем как уснуть, Ксения обвила его шею этими своими черными, тяжелыми, душистыми косами и пробормотала чуть слышно, уже сквозь дрему:

– Вот теперь ты никуда от меня не уйдешь. Проснусь – ты все так же со мной бу...

И мгновенно уснула на полуслове, обессиленная этой нескончаемой сладострастной ночью. Уснула, думая, что наконец-то привязала милого друга к себе навеки. Убежденная, что ежели она телом и душой предалась ему, то, стало быть, и он принадлежит ей всецело. Для Ксении простое слово «люблю» было равнозначно клятве перед алтарем, она почитала себя не наложницей, не любовницей, но женой и днем, в ожидании возвращения Дмитрия, вела смиренную затворническую жизнь, приличную от века всем прежним обитательницам кремлевских теремов. Дочь государя, она была воспитана в уверенности, что, рано или поздно, станет женой государя. Что Ксении было до того, что отец ее обманом взял престол московский, а тот, чьей невенчанной супругой она сделалась, звался иными людьми самозванцем и незаконным царем? Что ей было до того, что из-за него приняли смерть ее отец, мать, брат? Все это чудилось теперь совершенно неважным. Даже то, что сама Ксения замышляла самоубийство, только бы не достаться этому самозваному чудовищу, беглому монаху-расстриге, порождению дьяволу... Чьим промыслом она избежала смерти? Кто спас ее? Бог ли, враг ли его?

Дмитрий криво усмехнулся. Да, вот вопросы безответные. Знать бы, кто ему самому ворожит! Кому столь не угодил Борис и весь его род, что он, сей неведомый, чуть ли не коврами выстелил Дмитрию путь от Варшавы до Москвы, к трону русскому? Кто спас Ксению от чрезмерно старательных рук Васьки Голицына да Андрюхи Шефередино, успевших погубить жену и сына Годунова? Бог ли, враг ли его? Кто исполнил давнее, заветное, юношеское мечтание Дмитрия и привел дочь Годунова к нему на ложе? И кто подшутил над ними обоими, превратив страстную ненависть в страстную любовь... любовь, которая была обречена с самого первого мгновения их встречи, любовь, которая напоминала чудный сон, сившийся враз им обоим?

Увы, от всякого сна рано или поздно наступает пробуждение, и бороться с этим бесильны как Бог, так и враг его!

Дмитрий осторожно снял с шеи сначала одну теплую косу, потом другую, опустил их на постель и гибко, неслышно встал.

Ксения пошевелилась, почуяв что-то, но не смогла одолеть тяжелой усталости: повернулась на другой бок и уснула еще крепче. Теперь одна ее коса черной змейкой свилась на подушке, другая сползла с постели, свесилась до самого пола. Дмитрий поднял ее, поднес к губам распушившийся кончик, а потом решительно разжал руку. Коса упала рядом с Ксенией, а он, накинув тяжелый бархатный халат, отороченный узкой соболиной полоской, вышел из опочивальни в боковой покойчик, где устроил себе малый кабинет, куда допускались только

самые близкие, доверенные люди, и даже секретарь Дмитрия, поляк Бучинский, сюда был вхож не всегда. Прежде всего потому, что поляк...

Петр Басманов, задремавший у стола в ожидании государя (затянулось ожидание, потому что затянулось прощание, но Петр Федорович был терпелив, все знал, все понимал!), вскинулся, провел рукой по смуглому красивому лицу – и сонливости как не бывало. Отец и дед Басманова некогда служили Ивану Грозному – правда, жизнь свою окончили в застенке, однако у Дмитрия не возникало сомнений в безусловной преданности Петра. Не считая Мишки Молчанова, это был ближний, самый доверенный человек, и понимание, читавшееся в его темных глазах, не было для царя оскорбительным.

Дмитрий протянул руку, и Петр Федорович, умевший понимать государеву волю без слов, вложил в нее письмо – то самое, доставленное из Сендомира лишь два часа назад.

Вообще говоря, все письма от сендомирского воеводы Мнишка, тем паче – его дочери Дмитрию доставлялись безотлагательно, и он прочитывал их не мешкая, порою откладывая ради этого государственные дела. Но сегодняшнее послание немедленного прочтения не требовало. Дмитрий и без того знал, что в нем.

Развернул письмо.

Почерк был чужой, незнакомый – у пана Мнишка, знать, новый секретарь. Неразумно сие – доверять несведущим государственные тайны! Но тут же, прочитав первые строки, Дмитрий криво усмехнулся: судя по количеству ошибок, пан Юрий составлял сие послание московскому государю собственноручно, именно что таясь от посторонних!

Итак...

«Есть у вашей царской милости неприятели, – писал Мнишек после витиеватых и приличных приветствий, – которые распространяют о поведении вашем молву. Хотя у более рассудительных людей эти слухи не имеют места, но я, отдавши вашему величеству сердце и любя вас, как сына, дарованного мне от Бога, прошу ваше величество остерегаться всяких поводов, а так как девица Ксения, дочь Бориса, живет вблизи вас, то, по моему и благоразумных людей совету, постарайтесь ее устранить от себя и отослать подалеке...»

Дмитрий отшвырнул письмо. Мельком подумал, что мог бы и не стараться скрывать послание от Бучинского: очень может статься, что именно от царева секретаря пан Юрий получил «о поведении вашем молву». Хотя... присутствие Ксении во дворце ни для кого не тайна. И любой-каждый из множества поляков, которые шатаются по Кремлю и по Москве, могли настроичить сендомирскому воеводе упреждающее послание: так, мол, и так, в то время как наияснейшая панна Марианна хранит верность жениху, этот самый жених...

Хитрый Мнишек – истинный иезуит, достойный ученик учителей своих. Он не угрожает, не страшит Дмитрия. Но уже само получение этого письма, само имя Ксении, названное в нем, значат для понимающего неизмеримо много. Как говорится, умный поймет с полуслова. Вот и Дмитрию понятно: отец Марины не просто рассержен. Он в ярости! Насчет мягкости укора будущему зятю за откровенное распутство обманываться не стоит – мягкость сия мнимая. И если Дмитрий не внемлет предупреждению, Мнишек посчитает, что он нарушает принятые меж ними соглашения, а значит, сам сочтет себя вправе нарушить главное свое слово: отпустить из Польши дочь.

Дмитрий быстро зажмурился, словно пред ним где-то вдали блеснул страшный огненный меч. Он и сам знал, что в его любви к Марине было нечто роковое, нечто пугающее его самого. Наваждение, может быть, бесовское наваждение, но... Но одна только мысль о том, что, быть может, он никогда не увидит ее больше, заставляла дыхание пресечься.

Нет, лучше не думать, не размышлять, отчего так складывается, отчего душа его скручивается в тугую комок необъяснимой боли при одной этой мысли: «Никогда не видеть Марину!...»

Мнишек знал, что делал, когда писал это письмо. До его получения присутствие Ксении во дворце могло быть сколь угодно долгим. Но с той минуты, как Дмитрия известили о письме, все изменилось. И нынешняя ночь была для любовников последней.

Дмитрий обернулся к Басманову. Тот уловил его движение краем глаза (сидел с почтительно потупленным взором) и встал:

– Прикажешь, государь, немедля ехать или до утра повременим?

– Да уж скоро утро. Час-другой пусть еще поспит, а ты тем временем скажи возок приготовить да все вещи в него снести. А самому тебе ехать не обязательно. Понадобишься скоро. Пошли кого другого, хоть Татищева. Заодно с сестрой повидается – сколько я помню, она настоятельница на Белозере? Все не к чужому человеку отправляю... – Осекся, махнул рукой, останавливая невольный промельк сочувствия, не то и в самом деле явившийся на лице Басманова, не то лишь почудившийся. – И все, довольно. Вели еще коня мне приготовить. Я буду в крепостце. Когда... ну, потом, когда все свершится, пришлешь за мною, я и ворочусь.

Быстро пошел в смежную комнату, где хранилась одежда.

На пороге вдруг повернулся и сказал странным голосом, словно сам себе удивлялся:

– Пускай Татищев игуменье накажет, чтобы не сразу... не сразу под постриг вели. Пускай пока в белицах поживет.

И вышел наконец, оставив Басманова в недоумении, которое тот, впрочем, никак не изъяслял, ибо не служивое это дело – постигать силы, движущие государевыми поступками.

Кажется, Дмитрий и сам не постигал сих движущих сил. Да и не хотел постигать, если честно!

Он подумал, что теперь Марине путь в Россию вполне открыт.

Марина – венец его трудов, венец его стараний и страданий, его заслуженная награда, не менее желанная, чем московский престол, – может быть, даже более.

Марина!..

Февраль 1606 года, Польское королевство, Самбор

«Ах, наисладчайший Иисус! Ты все видишь. Мальчишка так хочет залезть панне Марианне под юбку, что даже похудел. Самое смешное, он и сам не понимает, что с ним происходит. Убежден, будто занят исключительно рыцарским служением прекрасной даме, а сны, после которых его простыня наутро вся бывает покрыта пятнами, – злостный промысел дьявола».

Барбара Казановская, гофмейстерина панны Мнишек, делала вид, будто внимательнейшим образом осматривает новые фижмы, вот только что, полчаса назад, привезенные из Парижа (все свои туалеты дочь воеводы сендомирского получала из французской столицы), а сама исподтишка косилась на худенького юношу, по сути – мальчика, одетого не как взрослый шляхтич, а в пышные панталоны с разноцветными вставками в прорезях, чулки и колет. На его гладко причесанных, лишь слегка подвитых кудрях красовался бархатный берет с пером.

Колет, вставки в черных панталонах и берет были синие. Перо и чулки – белые. Глаза и волосы юноши отличались редкостной чернотой, даже слегка отливали вороненой синевой.

«Не мальчик, а цукерка! ¹ С ума сойти, какой красавчик! Какие ноги, ах, Матка Боска, ну до чего же прельстительно обтягивают их эти тонкие, из шелковых нитей связанные чулки! Право, жаль, что нынче уже вышли из моды короткие штаны и теперь только пажи щеголяют при дворе своими стройными ножками. А впрочем, истинная красота и прелесть свойственны только ранней молодости. Потом, с годами, мужчину отличает опытность, храбрость, сила, мужчина становится интересен и даже, если повезет, загадочен, однако вот такую прелесть нераспустившегося цветка увидишь только у пятнадцатилетнего юнца!»

Барбара, большая ценительница красоты молоденьких пажей, подавила невольный вздох от того, что «цукерка» Ян Осмольский никогда не взирал на пани Казановскую иначе как с сыновним почтением, но тут же и усмехнулась. Мужчины небось вот точно так же меряют взорами незрелые прелести молоденьких прелестниц из свиты панны Марианны, однако, едва кое-что зашевелится в штанах, они поспевают к зрелым дамам, просвещенным в науке страсти нежной. Только такие дамы и способны дать им истинное утешение и наслаждение. Не будь Янек Осмольский невинен, словно дитя малое, не будь он столь щенячьи влюблен в вельможную панну Марианну, госпожу свою, Барбаре, пожалуй, стоило бы позаботиться о своемвременном образовании сего молодого дарования. Из него вышел бы толк, наверняка вышел бы – стоит только заглянуть в эти потаенно блистающие очи, посмотреть на жаркий румянец, заливший его щеки...

А что это он там трогает словно невзначай? Ах ты, святая сила небесная! Да ведь это новый корсет панны Марианны, со всеми прочими украсами лишь нынче присланный из Парижа! Мальчик мнет и тискает его, словно груди возлюбленной. Небось заложил бы душу бесу, дабы хоть на полчаса сделатья этим корсетом и прильнуть к нежному телу некой особы... довольно-таки сухороброму и чрезмерно тощему, если уж говорить честно.

Ах, грех, грех... Барбара торопливо обмахнулась двумя пальцами, сотворив крестное знамение, поднесла к губам распятие, сделанное из кедра, который вырос не где-нибудь, а на могиле святой мученицы Барбары, ее покровительницы. Пани Казановская самозабвенно предана своей госпоже, жизнь за нее отдаст не задумываясь, так что не стоит принимать всерьез злоехидство, кое вдруг проскользнуло в ее мысли. Дьявол искушает, когда Бог далеко, это всем известно! Подсылает своих подручных, бесов, которые так и норовят пощекотать достойную пани и навести ее если не на искушение, то на самые фривольные мыслишки. А пани Казановской всегда трудно было устоять перед мужскими домогательствами... даже если это домогательства бесов. Они ведь тоже как-никак мужчины!

¹ Конфетка (польск.).

Барбара сотворила крестное знамение с новым усердием. Панна Марианна столь религиозна и рассудительна, воистину – достойная духовная дочь отцов-иезуитов, и ежели бы она каким-то образом дозналась о размышлениях своей гофмейстерины...

Ну, философски пожалала плечами Барбара, Господь наш дал нам голову не только для того, чтобы украшать ее самыми разными парикмахерскими изысками и покрывать алмазными и жемчужными сетками, но прежде всего для того, чтобы таить в ней свои самые сокровенные и грешные, порою даже крамольные мысли.

Например, такую: как бы ни носилась вся шляхта вплоть до самого пана Мнишка – да что до пана Мнишка! До князей Адама и Константина Вишневецких! До самого его величества короля Сигизмунда! – словом, как бы ни носились вельможные паны с этим некрасивым русским, которого они все в один голос провозгласили новым царем, истинным сыном ужасного царя Иоанна IV и надеждою католичества на востоке, Барбара ни на секунду не усомнилась в том, что претендент самый настоящий самозванец. Все-таки царь Иоанн, несмотря на свой ужасный характер и дикарскую жестокость, был видным, красивым мужчиной. Высокий, статный, сероглазый... Надо полагать, и мать его сына Димитрия была не из последних красавиц – кого попало государь не привел бы к себе на ложе! Что же представляет собой этот неведомый человек, назвавшийся царевичем Димитрием и прикрывающийся тенью Грозного, будто поношенным плащом?

Барбара Казановская повидала мужчин в своей жизни, повидала-таки, однако столь непривлекательных панов встречала немного! Росту претендент среднего, даже невысокого, лицо у него круглое, и его, только зажмурясь, можно назвать красивым, черты и глаза омрачены задумчивостью, ну а волосы имеют рыжеватый оттенок. Правда, очи редкостного темно-голубого цвета напоминают глубокое вечернее небо, и эти очи – самое приятное, что есть в его лице. Ну, чтобы быть справедливой, следует сказать, что сложения молодой человек хорошего. По слухам, руки его отличаются необычайной силой. А что до роста... Это Барбара обладает скульптурными формами и может поглядывать свысока не только на многих дам, но и на иных кавалеров. А панна Марианна и сама не больно-то высокая. Можно сказать, она малюсенькая. И рядом с такой крошкой русский жених смотрится вполне прилично. Кроме того, относительно невысоких мужчин существует одна пословица... в приличном обществе ее не произнесешь, но она очень точно отражает суть дела: «Маленький, но е...й!»

Дай Бог, конечно. Дай Бог! Барбара не раз и не два слышала – да и по собственному опыту знала! – что постель скрепляет самые натянутые отношения. Панна Марианна ведет себя скромницей, но иной раз из ее серых очей проблеснет такой пламень... Пусть она найдет свое счастье не только на царском троне, но и на царском ложе. Хотя ее неумное честолюбие вполне может заменить ей любовные радости. Барбара отлично помнит: когда сестра панны Марианны Урсула выходила замуж в Залозицу, за князя Константина Вишневецкого, находились завистники (прежде всего – завистницы!), которые якобы сочувственно подсмеивались над Марианной. Ну как же, младшая сестра пошла под венец раньше старшей! Это ли не позор? И судачили, что панна Марианна не больно какая красавица. Нос длинноват, губы тонкие. Брови, правда, хороши... И за что только ее считают признанной чаровницей? За что влюбляются в нее некоторые глупые паны? Эх, зря она отказала Гнилицкому и Корецкому! Как бы не засиделась в девках!

Панна Марианна отмалчивалась с самым высокомерным видом. Для нее все эти Гнилицкие, Корецкие, Брачинские, Годлевские были мелкая сошка.

Да что они! Сам Сигизмунд некогда предлагал панне Марианне – весьма недвусмысленно! – сделаться его любовницей. Само собой разумеется, она отказала. Королевская постель ее не влекла. Вот если бы Сигизмунд предложил ей трон...

И правильно сделала, что отказала. Дождалась-таки своего часа!

Из-за нее потерял сон и покой этот русский, кто бы он там ни был – истинный наследник престола или авантюрист, каких свет не видывал. Марианна вполне овладела его волею, он только и ждет, когда ясна панна наконец-то отправится в Москву. Однако отец Марианны все откладывает и откладывает отъезд. И пан Юрий, и господа иезуиты, которые благословили будущий брак, а также всю эскападу на восток, понимают: Марианна, или, как называют ее русские, Марина, – практически единственное средство держать в руках Димитрия. Воссев на престол и найдя единомышленников и преданных слуг во многих русских, он вполне может нарушить некоторые свои обещания. Например, насчет передачи Юрию Мнишку Смоленского и Северского княжества в потомственное владение, а также – доходов с близлежащих земель (лично панне Марианне полагался миллион польских злотых и Великий Новгород и Псков со всеми ближними землями и уделами); насчет заключения вечного союза между обоими государствами; насчет свободного въезда иезуитов в Россию, строительства католических церквей, латинских школ и постепенного окатоличивания русских; насчет помощи шведскому королю вернуть его престол; насчет... Да мало ли надавал обещаний этот синеглазый царевич в ослеплении любви и жажде власти! Барбара сама слышала, как шутил пан Мнишек: «Царь Иоанн Грозный намеревался пришить нашу Польшу к своей России, словно рукав к шубе. Ну не смешно ли, что благодаря его сыну мы пришьем Россию к Польше, словно шубу к рукаву!»

Конечно, мысль заманчивая. Но хитрый пан Мнишек понимает: если иголкой служит Димитрий, то ниткой, которая доподлинно скрепит, сошьет этот союз, является панна Марианна.

Барбара не сомневалась: пан Юрий и господа иезуиты рады были бы вовсе не выпускать царскую невесту из Польши до тех пор, пока Димитрий не выполнит всех своих посулов – и еще в придачу десятка других. Хороший был сделан ход – в ноябре прошлого года обручить Марианну с послом Афанасием Власьевым, представлявшим московского государя. Теперь Димитрий не сможет отказаться от Марианны, даже если сонмы красавиц-москвитянок начнут досаждают ему своей любовью! А слухи такие ходят...

Барбара вспомнила, как на обручении, проходившем в Кракове чрезвычайно пышно, в присутствии короля, кардинала и всех сановников, Власьева спросили, не давал ли Димитрий обещаний другим женщинам. Посол ответил уклончиво:

– Коли и давал, мне про сие неведомо.

А когда вопросы сделались более настойчивы, вывернулся с неожиданной ловкостью:

– Ну сами посудите, вельможные господа: кабы обещался государь другой невесте, на что б ему гнать меня в вашу Польшу?!

Не зря ходили слухи, будто посланец русского царя не столь уж прост и весьма искушен в дипломатических увертках (он начинал службу еще при Грозном!), даром что рожа у Власьева при этих словах была совершенно дурацкая. А потом он начал падать крыжем² наземь всякий раз, когда упоминалось имя царя Димитрия, обертывал руку платком, прежде чем прикоснуться к руке Марианны, объясняя, что недостойн касаться будущей государыни российской, и всячески остерегался, чтобы платье его не коснулось платья Марианны (в самом деле, исключительно роскошного, из белой парчи, затканной жемчугами и сапфирами), сердито надувался оттого, что обрученная невеста его господина, уже почти царица, целовала руки польскому королю, как бы подчеркивая подчиненное, зависимое положение России от Польши (а ведь всякому русскому кажется, что должно быть наоборот!), – словом, вел себя как истинный шут гороховый, смешивший окружающих своими глупыми выходками, и непонятно было, правду ли он сказал насчет верности Димитрия своим обетам или отвел всем глаза.

Ах, подумала Барбара, природа мужчины такова, что он не может долго переносить телесное одиночество! С другой стороны, такова же и природа некоторых женщин. Все дело лишь

² *Крыж* – крест (искаженный польск.).

в том, чтобы уметь прятать концы в воду. К примеру, о пани Барбаре Казановской никто и слова худого не скажет, хотя ее плотские аппетиты трудно назвать умеренными, а вот Стефка, Стефания Богуславская, молоденькая камер-фрейлина панны Марианны, сразу видно, готова поднять юбки для любого и каждого и даже не заботится скрывать это! Когда-нибудь такое поведение доведет ее до большой беды, или Барбара Казановская ничего не понимает в жизни!

Янек Осмольский, притихший было в своих мечтаниях, вдруг встрепенулся, и по его сиявшему лицу Барбара узнала о приближении госпожи еще прежде, чем расслышала шелест ее юбок и дробный перестук каблучков.

Двери отворились. Чуть боком – объемистые фижмы непомерно распирали юбку – вошла панна Марианна.

Янек сорвал с головы берет и нырнул в глубочайший поклон.

– Барбара, письмо из Москвы, – произнесла Марианна, даже взгляда ласкового не бросив в сторону мальчика, который так и замер, согнувшись и подметая пером пол, словно утонул в своих нижайших чувствах. – Отец полагает, что теперь мне можно ехать.

Госпожа и ее гофмейстерина понимали друг друга с полуслова. Барбаре не надо было объяснять, что пан Мнишек дал бы согласие на отъезд дочери только в одном случае: если бы доподлинно узнал о том, что ей не угрожают никакие соперницы. Значит, красавица Ксения Годунова удалена от двора. В цивилизованных странах государи выгодно выдают замуж своих отставленных любовниц и дают им немалое приданое в знак признательности за былые заслуги на поле страсти, однако российские цари, дикари по сути своей, все как один заточают разведенных жен либо отвергнутых наложниц в монастыри. Можно не сомневаться, что именно эта участь постигла и Ксению. Ходили слухи про ее косы необычайной красоты... Уж наверняка Ксения теперь рассталась со своими дивными волосами, чтобы накрыться клобуком.

Очень хорошо! Надо полагать, новое обиталище дочери Годунова находится далеко от Москвы. Гордая полячка Марианна не потерпела бы присутствия бывшей соперницы в одном с ней городе.

– А какие чудные подарки присланы отцу и мне! – радостно воскликнула Марианна. – Чернолисые шубы и шапки, золотые чарки, осыпанные жемчугами и драгоценными камнями, булава, оправленная золотом с рубинами, кони в яблоках, а к ним седла и уздечки, украшенные золотом и камнями, а вместо поводов у них злотые цепи, часы в хрустале с золотой цепью, два ножа, один алмазами осыпанный, другой сапфирами и изумрудами, два персидских ковра, вытканых золотом, связки сороков самых лучших соболей...

Да, перечислять подарки жениха Марианна могла бы долго, ведь это доставляло ей истинное наслаждение. Димитрий был необычайно щедр к невесте и будущему тестю. Благодаря его щедрости Марианна постепенно становилась одной из самых богатых шляхтянок Польши... а скоро делается богатейшей особой во всей огромной России!

С той стороны, где стоял паж, донесся не то вздох, не то всхлипывание. Несмотря на свою молодость, Янек уже был искушен в придворных интригах и умел слышать недосказанное. И сейчас сердце его разрывалось между радостью за обожаемую госпожу, которую более не будет унижать неверность обрученного жениха, и горечью оттого, что ей придется-таки ехать в Россию, чтобы сделаться там женой какого-то туземного господарчика...

Именно что господарчика! Даже в корчмах бьются об заклад пропившиеся шляхтичи, за кого таки сосватал сендомирский воевода красавицу-дочь: за истинного ли царевича или за какого-то прощелыгу, обманом воссевшего на трон?

Декабрь 1605 года, Москва

– Ворота отвори-ить! – раздался зычный окрик, и два стрельца, дремавшие по обе стороны Никитских ворот, всполошенно вскинулись.

Ночь темная на дворе, кого и куда понесло? А, ну понятно... царя нелегкая гоняет.

Сняли засов, растащили в стороны створки, и в медленно растворяющуюся щель по двое промаршировали алебардчики в кирасах и шлемах. Вышли на площадь, выстроились порядком, салютуя оружием группе всадников, вырвавшихся из Кремля и на полном скаку помчавшихся к Москве-реке, где бессонно полыхали костры на берегу: стояла стража возле государственной забавы, чтобы лихие люди не порушили ее.

Стрельцы медленно затворяли ворота. Алебардчики так и остались по ту сторону – будут ждать здесь возвращения царя, сменяясь через каждые два часа. И то диво, как они выдерживают в своих железках столь долгое стояние на морозе! Конечно, под шоломом, более напомиравшим перевернутый, до блеска начищенный котел, у каждого вздет вязаный подшлемник, да и под кирасами внизу теплые, простеганные суконные кафтанчики и меховые безрукавки, а все едино – не сравнить с теплыми тулупами, которые надевает московская ночная стража студенными декабрьскими ночами. Ну что ж, такая уж их, наемников, доля. Служба у каждого своя, а, по слухам, платят чужинцам щедро!

У царя было три иноземные дружины: одна под началом француза Якова Маржерета, вооруженная протазанами³ с позолоченным изображением русского орла, с древками, которые были обтянуты бархатом, а поверх него увиты серебряной битью⁴, с золотыми и серебряными кисточками. Дружина Маржерета выглядела самой нарядной, платье у алебардчиков было бархатное – праздничное, а будничное – суконное. Хорошо было также воинство Матвея Кнутсона, ливонца: их алебарды украшены царским гербом на обеих сторонах лезвия, платье темно-синего цвета с красными камковыми⁵ рукавами и такого же цвета штаны, а камзол обшит бархатными с битью шнурами. Третьей дружиной начальствовал ополячившийся немец Альберт Вандеман, которого чаще отчего-то звали пан Скотницкий. У его дружины одежда была обшита зеленым бархатом.

Такова была воля царя Димитрия – окружить себя не стрельцами, а иноземными солдатами. Его повадка казалась москвичам весьма диковинной, ведь все русские прирожденные цари выезжали верхом всегда в сопровождении стрельцов. А этот носится с горсткою своих трабантов⁶. Стрелецкое же войско, вооруженное длинными пищалями, стоит на охране Кремля и самого города. Лишь иногда государь дает приказ вывести войско на берег Москвы-реки, чтобы заставить играть в детские игрища: строить деревянные или снежные (смотря по времени года и погоде) крепостцы, брать их приступом и обстреливать из больших пушек, которых было в последний год отлито немало, хотя пушек и так хватало в Москве. Ну, зато пушкарки теперь всегда при деле: уж и ядер переводилось на государевы забавы! Вот ведь и ночь ему не в ночь: не иначе черт щипнул за бок – чего сорвался в крепость еще до заутрени, словно татары подступают к городу?

«Татары, – мысленно повторял Димитрий, отворачивая лицо от студеного ветра, – татары, татары...»

Он твердил это слово, чтобы горячую голову не терзало воспоминание о черных косах, только недавно ласково обвивавших его шею, о белой руке, по-детски подложенной под щеку,

³ Алебардами.

⁴ Бить – тончайшая, словно нитка, проволока из серебра или золота для украшения одежды или воинских знаков.

⁵ Камка – шелковая ткань с разводами, чаще всего красная.

⁶ Трабанты, или драбанты – телохранители, вооруженный почетный караул для охраны высокопоставленного лица.

о нагой груди, с которой сползло покрывало, открыв взору нежную округлость, завершенную темно-розовым, набухшим от жадных поцелуев любовника соском...

«Татары, татары, татары...»

Вечная угроза русским землям, неиссякающая угроза, тем более опасная, что силища эта злобная наваливается внезапно и стремительно. Отправляясь в набег, они ведь никогда не берут с собой тяжестей, которые мешали бы им и затрудняли продвижение, а именно запасов провианта или амуниции. Татары, как всем известно, питаются конским мясом и обыкновенно берут с собой вдвое больше лошадей, чем людей. У каждого всадника по две лошади: устанет одна – он вскакивает на другую, а освободившаяся лошадь бежит за хозяином, как собака, к чему она приучается очень рано. И когда падет лошадь, что бывает часто, татары едят конское мясо: взяв кусок, они кладут его под седло, пустое внутри, и мясо там лежит и прееет до тех пор, пока не сделается мягким. Тогда они охотно едят его; сверх того, они отовсюду уводят скот и таким образом обеспечивают себе пропитание. Приближаясь к реке, они связывают вместе поводья и хвост обеих лошадей, на которых сами становятся, привязав сделанные из дерева луки к спине, чтобы не замочить их и не ослабить тетиву. И таким образом татары чрезвычайно быстро переправляются через реку и наваливаются всем скопом на поселение. Они все одеты с головы до ног в овечьи или звериные шкуры, так что видом походят на чертей...

«Очень хорошо! – усмехнулся Димитрий. – Мое «чудовище ада» про них в самый раз будет. Чертовщина против чертей!»

«Чудовищем ада» на Москве называли придумку царя – крепость на колесах, внутри которой были установлены полевые пушки и всегда имелся изрядный огнестрельный припас, чтобы употребить против внезапного натиска татар. Димитрий надеялся, что частые огненные залпы напугают и самих всадников, и, что не менее важно, лошадей. Да, крепость на колесах была измышлена весьма хитроумно. А уж как изукрашена! На стенах ее были изображены диковинные боевые животные – элѐфанты, называемые по-русски слонами – за то, что при ходьбе весьма *слоняются* из стороны в сторону. Элѐфантов, сиречь слонов, Димитрий видел в Польше на цветных гравюрах, изображавших жизнь чудесных индийских стран. Между прочим, рассказывали, что одного такого слона привели как-то в подарок царю Ивану Грозному, отцу-батюшке, однако животное оказалось строптивым, чина царского не почитало и нипочем не желало преклонить пред государем колени, почему крутенький нравом Иван Васильевич вскоре разъярился настолько, что повелел отрубить непокорному элѐфанту голову. Насилу выпросили помилование для чудного животного!

Окна в движущейся крепости были сделаны точно так, как на лубочных картинках изображаются врата ада, и из них должен был извергаться огонь из больших пушек. А понизу шли ряды окошечек, подобных головам чертей, из которых торчали жерла самых малых пушек.

Эта крепость была вся, от начала до конца, придумана, нарисована и вычерчена для строительства самим Димитрием – так же, как медное изваяние Цербера, страшно клацавшее зубами. Цербера он велел поставить перед своим дворцом, и надо было видеть лицо Ксении, когда она впервые увидела чудище! Сначала испугалась до полусмерти, спряталась за спину Димитрия, долго потом даже во двор выходить не хотела, но в конце концов привыкла к Церберу и даже, кажется, с трудом удерживалась, чтобы не отвесить ему приветственный поклон в ответ на зубовное клацанье. Была совершенно уверена, что чудище сие только наполовину медное, а вполовину – живое и таким образом Цербер здоровается с царем и его любушкой.

И снова всплыло в памяти дивное видение ее нагих грудей, белопенных, манящих... Чудилось Димитрию или на самом деле они сделались в последнее время еще пышнее, налились, словно спелые плоды? Он отчего-то никак не мог вспомнить, когда у Ксении были в последний раз ее женские дни. В этом месяце? Или в прошлом? Кажется, в прошлом... Что, если груди налились так оттого, что она понесла? Гос-по-ди... Как же она будет в монастыре, если это так?!

Нет. Не думать о Ксении. Не думать! Кто она? Всего лишь сладостная утеха победителя, добыча на поле брани, трофеей, как говорят иноземные наемники. Наложница, полонянка, рабыня. Не жена!

Царь не женится на рабыне, особенно если у него есть сговоренная и обрученная невеста, которая, хочется верить, скоро отправится в Москву. А до приезда Марины и до того сладостного мгновения, когда Димитрий сможет наконец-то взойти на супружеское ложе, ему придется утешаться девками. Ну что ж, Мишка Молчанов весьма поднаторел в мастерстве сводника. Надо быть, не разучился, пока государь брал к себе в постель одну только Ксению Годунову и жил с нею словно бы не блудным делом, а так, как муж живет с женою. А разучился Мишка – стало быть, придется припомнить прежнее ремесло. Раньше особенно нравилось Димитрию, когда девок приводили в баню. Он пробовал всех, потому что мужская сила его чудилась неиссякаемой, а потом девицами наслаждались Мишка и Петр Басманов, который, по счастью, не унаследовал противуестественных наклонностей своего отца Федора Алексеевича, а славился знатным бабником.

Да, с таким другом, как Петр, Димитрию повезло. Именно благодаря Басманову он взял Москву, а потом Петр охотно разделял все дела и заботы нового властелина России, как воистину государственные, так и те, которые людям несведущим казались пустой, никчемной забавою. Досуги!

Взять хотя бы эти боевые крепостцы. Они вызывали восторг Петра Басманова! И «чудо-вище ада», и та снежная крепость, которую Димитрий велел выстроить близ монастыря на Вязме и куда не так давно ездил со всей своей придворной челядью: большим боярским и стрелецким «хвостом» и своими тремя телохранителями из числа французских и немецких наемников Маржерета и Кнутсона. Также было при царе триста польских всадников, потому что Димитрий задумал устроить учения для московского войска. На том месте, где берег Вязмы был особенно крут и неприступен, поставили острог почти в истинную величину, сложенный из снежных глыб, а у самого основания крепости еще политый водой, которая на морозе вмиг схватилась льдом. Оборонять сие учебное сооружение предписано было москвитянам во главе с мечником Скопиным-Шуйским. Ну а сам Димитрий водительствоваля отрядом трабантов-штурмовиков. Загодя было ими слеплено огромное количество снежков, которые должны были служить единственным оружием нападавших. Русские со стен крепости хохотали над поляками и французами, истово лепившими снежки, а видя среди них государя, занятого той же пустой забавою, откровенно косоротились, иные даже крестились.

Первое дело, что какие-то снежки против глыб, из которых сложены стены. Второе – невместно царю возиться в сугробах, словно сопливному мальчишке! Невместно сие, неблагоприятно!

Димитрий видел, как коробило князей да бояр, и только усмехался. Ну что поделывать, если ему тошно от старинного русского благолепия! С тоски помрешь не ходить по палатам, а важно выступать, непременно в сопровождении пузатого боярства! Он ненавидел выезды в громающих, неудобных колымагах – предпочитал взять под седло легконогого аргамака, самого лютого до скачки, взмахнуть верхом – и лететь очертя голову в сопровождении свиты на столь же стремительных конях. Пытались ему стул подставлять, чтобы удобнее было взобраться в седло. Да он что, старец немощный – на коня со стула садиться?!

Даже в этой невинной прихоти бояре видели поношение старинного благочестия. Вон, хихикают, глядя на разгоряченного, вспотевшего царя сверху вниз, со стен снежной крепости. Ничего... Как говорят умные люди, хорошо смеется тот, кто смеется последним!

Вот и вышло, что последним в том штурме выпало смеяться именно Димитрию. Снежки, которыми его войско закидало крепость, были слеплены с добавлением льда, песка и галечника, а оттого получились на диво крепкими. Немало синяков оставили эти «ядра» на плечах и головах москвитян, которые о серьезной обороне не подумали. Быстро же забыли «благолеп-

ные», как сами были ребятишками! Их снежки вышли рыхлыми, рассыпались еще в полете, не причиняя серьезного вреда наступающим. Победа наступающих была полная!

Димитрий не скрывал своей радости оттого, что побил-таки своих москвитян. Хохотал, будто дитя малое, а потом повелел подать и побежденным, и победителям пива, меду, водки и приказал им готовиться к новой потехе, для которой будет слажена новая крепость. Думал, это будет уроком для соотечественников, но москвитяне все как один надулись, разобиделись, почли случившееся не шуткой, а кровным оскорблением. Злобились, что добыли себе такие ужасные синяки, что им ломали руки за спину и вязали веревками, словно истинных пленников! И надумали достать Димитрия с его телохранителями – чего бы это им ни стоило...

Как это сделалось ведомо Петру Басманову, Димитрий так и не узнал. Однако тот предупредил государя, что обида русских, которых шутя побили немцы, требует серьезного искупления. Уверял, что истинных друзей у государя среди обиженных меньше, чем недоброжелателей. Отныне, чтобы всегда быть готовыми к отпору, русские стали носить под кафтанам ловкие и острые ножи. Когда при новой потехе Димитрий и его телохранители, сняв с себя теплую одежду для легкости движений и оставив оружие, ринутся на приступ, может, пожалуй, случиться большая беда...

Димитрий не испугался – призадумался. Пожалуй, напрасно он выставил соотечественников перед иноземцами такими непроходимыми глупцами! Это для него все игрушки, отвык он думать по-русски за годы своих странствий, стал истинным европейцем.

Димитрий оставил на время штурмы снежных крепостей, а если и вел их, то силами только русскими: один отряд обороняется, другой наступает, сам же царь в забавах не участвует, смотрит на потеху со стороны.

И правильно сделал: тот же Басманов потом доложил, что, если бы он в самом деле напал тогда на русских со своими телохранителями, могло бы случиться пролитие большой крови и немало народу осталось бы лежать на снегу с перерезанным горлом...

Да, нелегко быть русским государем, и шапка Мономахова оказалась куда тяжелее, чем представлялось Димитрию в начале его пути. Конечно, с поляками, немцами, французами ему общаться не в пример легче, а порою, чего греха таить, куда приятнее, чем с иными соотечественниками, у которых на языке мед, а под языком лед. Один только князь Василий Шуйский со своими вечными клятвами по поводу и без повода чего стоит... Может, и правда зря простил его Димитрий, когда открылся заговор? Может, и зря... Но он не мог поступить иначе! В казни князя Шуйского усмотрели бы желание Димитрия навеки заткнуть рот человеку, который единственный (по мнению многих русских!) знал правду о том, что произошло 15 мая 1591 года в Угличе. То есть, избавляясь от Шуйского, Димитрий как бы косвенно подтверждал слухи о своем самозванстве...

Нет, он не мог допустить, чтобы его заподозрили в неблагоприятных поступках! Он не хотел уничтожать своих недоброжелателей, как это делал тихонько, втай его предшественник на троне, кичившийся, что дал-де обет не проливать крови. А между тем кто счел противников Бориса – задушенных, истомленных в банях, утопленных, отравленных, заморенных голодом, сосланных в дальние, *невозвратимые* остроги?

Именно поэтому – чтобы ни в коем случае не уподобиться Годунову! – Димитрий простил Шуйских. Он готов был на все, лишь бы родная земля признала его и полюбила. Конечно, первым шагом к этому могло бы стать удаление всех поляков и разрыв с Мариной... Но он и так нарушил уже слишком много обязательств, данных в свое время в Самборе и Кракове. И нарушит еще больше – дайте только срок! Господа иезуиты уж точно уйдут из России несолоно хлебавши...

Но отказаться от Марины? Это невысказано...

И вдруг словно теплым ветром в лицо повеяло. Это налетели чудные, безумные мечтания прошлых лет, когда он еще жил в России, тайлся о своем происхождении, еще не пошел искать

счастья на чужбине, еще не встретил гордую полячку, завладевшую его душою. В те прежние времена он позволял себе помечтать, как воссядет на московский престол, а рядом с ним будет сидеть красавица Ксения.

Опять Ксения!

Димитрий сердито мотнул головой и обернулся. Мишка Молчанов, скакавший чуть справа и позади, приблизился к государю. Тот на скаку что-то негромко сказал другу и наперснику. Молчанов довольно оскалился, часто закивал – мол, исполню с охотою!

Клин можно вышибить только клином, забыть одну женщину удастся, если только заменишь ее другой... Правда, трудно будет найти равную Ксении красотой, нежностью и страстностью. Да, Димитрий может гордиться тем, какое пламя возжег в душе и теле этой признанной скромницы и привередницы!

Ничего. Если невозможно обладать одной, он заменит ее многими. А потом приедет Марина.

А о Ксении не думать, не думать, не думать!

Март 1584 года, Москва, Кремль, палаты Ивана Грозного

«Под стражей? Как это – под стражей?! За что? И что же теперь станется со всеми нами?»

Всего день прошел со смерти мужа, государя Ивана Васильевича, а до царицы Марьи Федоровны – вдовы-царицы! – только сейчас дошли вести о том, что творится на Москве. И весть эта поразила ее точно громом. Отец и братья заперты в своих домах под стражей, потому что вместе с Бельским мутили-де народ, призывали его идти в Кремль, бить Годуновых и законно названного наследника, Федора Ивановича, дабы посадить на его место царевича Димитрия. Но по его малолетству Нагие и Бельский желали захватить власть в свои руки, и вот тут-то Русскому государству полный край бы и настал. Ведь это против всех Божеских и человеческих законов – обходить прямого наследника, назначенного самим государем! Однако, на счастье, близ Федора Ивановича, который нравом настолько светел и добр, что никакого зла в людях не видит, всегда находится умный, разумный советник Борис Годунов! Он-то и провидел измену, он-то и отдал приказ своевременно взять смутьянов под стражу – лишь только государь испустил последний вздох.

Дворцовый дьяк Афанасий Власьев, явившийся в сопровождении двух стрельцов, принес царице Марии эти новости, лишь отошла поздняя обедня. А весь день провела она в одиночестве в своих покоях, с ужасом поглядывая на дверь, из-за которой неслись какие-то странные, пугающие шорохи. Ожили все страхи прежних дней, когда Марьюшка жила, не зная, встретит ли следующее утро здесь, во дворце, либо ночью бросят ее в простой возок и увезут в дальний монастырь, как увезли в свое время Анну Колтовскую, четвертую супругу Грозного, либо утопят, как утопили Марью Долгорукую, когда обнаружилось, что на государево ложе она вошла не невинной девицей, или заживо в землю зароят, как веселую вдову Василису Мелентьеву... Но потом Марьюшка родила сына, и ее положение при дворе, как матери царевича, сразу упрочилось – но лишь до поры до времени, а именно – до вчерашнего дня, когда вся власть в стране перешла вовсе не к Федору Ивановичу, как думают иные легковверные люди, а к его зловещему шурина Годунову...

Господи, это надо же – измыслить такое! Нагие и Бельский мутили народ, призывали идти на Кремль, убивать царя Федора! Но когда же они успели сотворить сие, ежели были заключены в домах своих тотчас после смерти царя Ивана Васильевича? Из окошек своих кричали, зовя к бунту, что ли? Неужто молодой дьяк не видит этой несообразности, когда пытается уверить царицу-вдову в том, что она страдает не по чьему-то злобному, хищному произволению, а в наказание за преступления родни своей?

– Государыня, объявляю тебе волю царя Федора Ивановича, – проговорил Власьев. – Заутра, чуть рассветет, тебе, и братьям твоим, и родственникам выезжать в пожалованный царевичу удельный город Углич. А еще жалует тебе царь свою царскую услугу, стольников, стряпчих, детей боярских, стрельцов четырех приказов для оберегания...

Дальше Марья Федоровна ничего не слышала. Кровь забила в голове громкими толчками. Смешалось облегчение, что не разлучат ее с сыном (именно этого опасалась она пуще смерти!), и горькая обида: цареву вдову с царевым сыном прогоняют из Москвы!

«Да неужто помешали мы им?!»

Вдруг сообразила, что в длинной речи Власьева ни разу не прозвучало имя Бельского.

– А Богдан Яковлевич что же? Опекун царевича, боярин Бельский? Как же он попустил такое? – сорвалось с ее уст. – И с ним-то теперь что?

Власьев отвел глаза. Известно – коли идешь при дворе служить, забудь о жалости и человечности, а все ж ему было жаль эту испуганную, измученную женщину – еще такую молодую

и красивую. Но, несмотря на это, он не мог сказать ей запретное: что Бельский тоже находится под стражей в своем доме и готовится отъехать воеводою в какой-то дальний город – якобы для спасения от разгневанного народа. Власьев не мог ей сказать этого еще и потому, что прекрасно понимал истинную подоплеку происходящего, но вовсе не хотел распротиться с головой потому, что распустил язык. И он ответил уклончиво:

– О том говорить, государыня, мне с тобой не указано. А велено еще сказать тебе после вечерни пожаловать во дворец – царь Федор Иванович желает проститься с тобой и с царевичем Димитрием.

Поклонился и вышел.

Марья Федоровна настороженно прислушивалась. Вдруг, подстегнутая подозрением, подбежала к двери, отворила ее... Так и есть! Вот почему она не слышала звука удаляющихся шагов. Власьев-то ушел, однако стрельцы, сопровождавшие его, остались стоять по обе стороны двери.

– А вы зачем здесь? – крикнула испуганно.

– Государева воля, – ответил один так холодно и неприветливо, словно говорил не с царицей-матерью, а с какой-то преступницей, взятой под стражу.

Государева воля!

Марья Федоровна в ярости захлопнула дверь, с трудом удержавшись от того, чтобы не наброситься на стрельца, не выцарапать ему оловянные глаза. Хотя... он-то в чем виноват? Служивые – люди подневольные! Что ему велено, то и сказывает. Дьяк Власьев, этот стрелец – не на них направлена ненависть молодой вдовы.

Государева воля! Как же, государева! Федор всегда любил Митеньку, играл с ним, сластями одаривал. Да и Ирина, не в пример брату своему хищному, была добра и ласкова с мальчиком: своих-то детей нет, вот и баловала его, души в нем не чаяла. Неужто поднимется у них рука спровадить невинного ребенка в ссылку? Неужто не удастся уговорить, уплакать, убедить Ирину и царя Федора, чтобы отменил свой бесчеловечный приказ, внушенный ему Годуновым, который только и чаёт удалить всех близких Федору людей, одному владеть его слабенькой душою и незрелым умом?

Царица подозвала сына, прижала его к себе. Он рос маленьким, худеньким, слабеньким. Ах, как тряслась она над ним, как боялась каждого кашля, каждой самой малой хворости! Дитя ее. Смысл ее жизни и сама жизнь. Даже страшно подумать, что только будет с нею, если с царевичем что-то случится. Всякое может быть, впереди долгая дорога, пусть и под охраной, а все же... Нападут в лесу разбойники – может статься, тем же Годуновым подосланные, – перебьют всех.

Вдруг, посмотрев поверх головы прижавшегося к ней сына, Марья Федоровна перехватила взгляд сидевшей в уголке мамки – и похолодела. Недавно появилась в ее покоях эта женщина с мужицкими ухватками, но не нравилась она царице: неласкова была с Димитрием, да и он ее дичился, плакал в ее руках. А в этом взгляде была истинная ненависть.

Вот, и никаких лесных разбойников не нужно. Эта мамка запросто удавит младенца. А скажет – куском подавился, глотком захлебнулся...

– Поди, поди вон, я сама с ним, – слабым от страха голосом приказала царица.

Мамка глянула зверовато, но вышла без звука. Стало чуть легче дышать.

День до вечера тянулся небывало долго. В задних комнатах копошились девки, собирали вещи царицы и царевича, готовясь к дороге, а Марья Федоровна все так же сидела в углу светлицы с сыном на коленях, томимая страшным предчувствием, что проводит с ним последние мгновения.

«А ежели там, во дворце, государь переменит решение и прикажет отнять у меня Митеньку? Меня – в монастырь, его... Нет, лучше не думать, не думать о таком. Коли станут убивать – пускай уж вместе убивают!»

Внезапно двери отворились, и на пороге появился стрелец.

Что такое? Зачем? Во дворец пора идти? Но к вечеру еще не звонили! Зачем он пришел? Почему лицо прячет? Почему кафтан сидит на нем, словно снят с чужого плеча, а бердыш трясется в руках?

Одурманенная своими страхами, Марья Федоровна хотела закричать, но горло стиснулось.

– Тише, Марьюшка! – вдруг промолвил стрелец знакомым голосом, и царица не поверила ни глазам своим, ни ушам. Это был голос ее брата Афанасия. Это он сам стоял перед нею в одежде стрельца!

– Господи, Афоня! Да что же это?.. – слабо вымолвила Марья Федоровна. – А мне сказали, ты с отцом и Михаилом под стражею.

– Правду тебе сказали, – буркнул брат. – Ушел чудом, только чтоб с тобой поговорить. Несколько минут у меня, как бы не застали здесь. Не помилуют! Но не прийти я не мог. Дело-то о жизни и смерти идет!

– О чьей смерти? – затряслась она, крепче стискивая сына.

Брат не ответил, бросил на ребенка многозначительный взгляд.

Да что проку спрашивать? И так известен ответ заранее.

– Разбойники... в лесу... – слабо залепетала она, выговаривая свои придуманные страхи, которые вот-вот могли сделаться явью.

Афанасий мгновение смотрел непонимающе, потом покачал головой:

– Вон ты про что. Нет, я не думаю, чтобы так быстро все случилось. Даже Бориска, каков он ни есть наглец, не решится на убийство царевича тотчас после смерти его отца. Вот тут уж точно выйдет бунт немалый! Бориску народ не жалуется, только дурак не поймет, чьих рук дело это нападение. Нет, думаю, до Углича мы доедем спокойно, да и там какое-то время проживем. А вот спустя год, два, много – три... Тут надо будет во всякий день ждать беды. Я, пока суд да дело, поговорил с одним умным человеком... – Афанасий бросил значительный взгляд на сестру. – Тот сказал, что Димитрий будет вполне безопасен лишь в одном случае: если у царицы Ирины родится сын. Законный наследник Федора. Конечно, вон уж сколько Федор с Ириной в браке живут, а детей и признака нету. Но все же надежда не потеряна. Так вот что я тебе скажу: в их надежде – и наша надежда.

– Я не понимаю, – пробормотала Марья Федоровна. Брат говорил слишком быстро, слишком напористо, каждое его слово то ввергало молодую женщину в бездну отчаяния, то возносило к робкой надежде на безоблачное будущее. – Нет, это мне понятно: если будет у Федора сын, Бориска-поганец и к нему, и к его трону присосется словно клещ, все равно что сам будет царствовать. Но ежели не будет сына... тогда ведь, наоборот, после смерти Федора и Бориска из Кремля долой! Кто он без Федора? Никто!

– Я ж тебе сказал, что с умным человеком посоветовался, – терпеливо повторил брат. – Тот человек предостерегал, что Бориса нам очень сильно нужно опасаться. Годунов вбил себе в голову, что суждено ему царем на Москве быть. Волхвы ему предсказали это: ты-де в царскую звезду родился, будешь царь и великий государь! – так что он Мономаховой шапки по своей воле никогда, ни за что из рук не выпустит. И я с тем человеком во всем согласен, я ему верю, как самому себе. Не стану имени его называть – скажу только, что он-то и пригрел на груди эту змею, укуса которой мы теперь так боимся. И сам же от Бориски вместе с нами пострадал. Если бы Годунов сейчас с нами не расправился, а с Федором бы что-то случилось, человек сей за малолетством Димитрия был бы настоящим правителем на Москве. Теперь смекаешь, о ком речь веду?

Марья Федоровна уставилась на брата возбужденными темными глазами.

Бельский! Это он на Бельского намекает! Именно Бельский пристроил во дворец своего родственника Годунова. Именно Бельский пострадал от его происков вместе с Нагими. Именно

Бельского царь Иван Васильевич перед смертью назначил опекуном Димитрия. Значит, Афанасий говорил о судьбе царевича с Бельским!

– Да-да... – выдохнула Марья Федоровна. – И что он сказал?

– Он сказал, что спасать царевича нужно. И не только он так считает. С ним задумали это и... – Афанасий шепнул что-то, какое-то имя.

Марья Федоровна, услышав это, недоверчиво покачала головой.

Афанасий говорит необыкновенные вещи. Значит, Бельский в стоворе с Романовыми, родственниками покойной царицы Анастасии? Да, их не может не пугать внезапное возвышение безродного выскочки Годунова!

– Спасать царевича, – пробормотала она. – Но как?

Брат мгновение молча смотрел на молодую женщину, и в глазах его вдруг плеснулась такая жалость, что ей стало еще страшнее, чем прежде.

– Как? – повторила она дрожащим голосом.

Афанасий склонился к сестре и начал что-то быстро шептать ей на ухо. Марья Федоровна сначала слушала внимательно, потом отстранилась и слабо улыбнулась:

– С ума ты сошел?.. Да как же... да мыслимо ли такое?!

– Трудно сделать сие. Но возможно, – кивнул Афанасий. – *Он* уже все продумал. У него есть один родственник, а у того родственника...

– Да нет же, нет! Мыслимо ли вообще такое представить, допустить! – перебила Марья Федоровна чуть не в полный голос, но тут же зажала рот рукой. – Чтобы я... чтобы мой сын...

– А мыслимо ли представить, как ты над гробом своего сына забьешься? – сурово глядя на сестру, проговорил Афанасий. – Ты не забывай, Марьюшка: жизнь и смерть царевича – это и наша жизнь и смерть. Отдадим его Годунову на заклятие – все равно что сами головы на плаху сложим. А подстелем соломки – глядишь, и переменится когда-нибудь наша участь к лучшему, к счастливому. Я сейчас уйду, а ты сиди думай над тем, что сказано. Тут ведь и правда дело о смерти или жизни идет.

– Донесут на нас... – слабо простонала Марья Федоровна, и Афанасий понял, что сестра, по сути дела, уже согласилась с ним. – Слуги – вороги!

– Откажись от всех, кто тебе не по нраву, – быстро сказал Афанасий, опасливо косясь на дверь. – В этом даже Годунов тебе препятствовать не станет. Конечно, есть тут его согладатаи, но ништо, даже если ты их от себя удалишь, он в Углич сможет других прислать, чтобы за нами смотреть. И держись твердо: мол, поеду в карете с царевичем одна! Все, сестра моя милая, пора мне. Ежели настигнут – тогда уж точно все пропало.

– Господи... – выдохнула Марья Федоровна, заламывая руки, и Афанасий глянул на нее с жалостью:

– Бедная ты моя! Как мы радовались, когда царь тебя в жены взял! А выпало слезами кровавыми умываться. Но ничего, попомни мои слова – будет и на нашей улице праздник! Нам бы только царевича от неминуемой смерти спасти...

Афанасий обнял сестру на миг крепко, крепче некуда, прижал к себе – и выскользнул за дверь. И в ту же минуту Марья Федоровна услышала перебор колоколов – начали звонить к вечерне.

Настала пора идти к новому государю.

Впереди шли слуги царя, за ними – Марья Федоровна и мамка с царевичем на руках, позади – еще двое слуг. Длинные переходы, отделявшие терем от государевой половины, чудились бесконечными. И пока царица шла под их темными сводами, ей все более немыслимыми и пугающими казались намерения брата, Бельского и Романовых. Нет, это невозможно, это слишком опасно! Она упадет в ноги Федору, она...

Горло перехватило от запаха ладана, донеслось заунывное пение. Марья Федоровна проходила мимо запертых государевых палат – Грановитой и Золотой. Здесь ее муж когда-то принимал послов, а теперь по нему панихиду служат. И ни жену его, ни сына младшего даже не позвали поглядеть на покойного, отдать ему последнее целование. Да неужто их вот так и увезут в Углич, даже проститься не дадут? Какое унижение, какое поношение!

Да нет, не посмеют остановить!

Царица шагнула к запертым палатам, но слуга преградил путь. Голос его звучал почти властно:

– Не сюда, государыня, велено в покои государя Федора Ивановича пожаловать!

Посмели, значит...

Пререкаться Марья Федоровна не стала – новое унижение от прислуги терпеть?! – и через несколько мгновений вступила в небольшую палату, куда одновременно с нею в противоположную дверь вошел Федор. Вновь пахло ладаном, и Марья Федоровна поняла, что молодой царь явился с панихиды. Глаза его были полны слез, губы дрожали.

Наверняка сейчас он, и всегда мягкий душою, особенно податлив и покладист. Самое время обратиться к нему со слезным молением...

Марья Федоровна рванулась вперед, готовая упасть на колени, но замерла на полушаге: вслед за государем появился Борис Годунов.

Чудилось, черная птица влетела в покои – враз и красивая, и страшная. Хищная птица! Темные, чуть раскосые глаза сияли, каждая черта лица дышала уверенностью и силой, поступь была твердой, властной. Словно бы не с панихиды, а с торжества он шел, где его чествовали как победителя.

Что ж, так оно и есть. Победитель. Вот он – истинный царь земли русской!

Федор Иванович целовал и крестил маленького брата, благословляя его в дорогу, а Марья Федоровна и Годунов стояли друг против друга, меряясь взглядами. Годунов смотрел снисходительно, уверенный, что подавил эту маленькую женщину своей внутренней силой. А она...

Вся гордость, угнетенная страхом супружеской жизни с самовластным и грозным царем, всколыхнулась в ней в это мгновение. Нет, не упадет она к ногам временщика, не станет молить о пощаде – все бессмысленно. Человек этот жесток и страшен потому, что наслаждается страданиями слабых. Но Бог его накажет за это – рано или поздно накажет!

И в этот миг Марья Федоровна поняла, что готова на все – даже на участие в безумной задумке Бельского, – да, на все, только чтобы получить возможность еще хоть раз взглянуть в глаза Годунова и увидеть в них страх. Страх и неуверенность в своей участи!

Она сдержанно простилась с царем и удалилась, высказав на прощание только одно пожелание – избавиться от прежних слуг и завести в Угличе новых. Разрешение было дано смущенным, огорченным царем. Если Борис Годунов и остался недоволен снисходительностью Федора Ивановича, то виду не подал. Такую малость он мог разрешить опальной царице! Ведь взамен он получал многое, очень многое... пусть даже и не все, чего желал!

Утром следующего дня все Нагие и царевич Димитрий вместе с ними удалились в Углич – на семь лет.

Февраль 1601 года, Брачин, имение князя Адама Вишневецкого – Вот же сила нечистая... Как бы не помер. Куда я без него? Пропаду ведь!

Варлаам с тревогой всматривался в молодое, горящее от жара лицо. За несколько месяцев, что они провели вместе после бегства из Чудова монастыря, он немало привык к своему спутнику. Сначала его молчаливость и замкнутость раздражали, а потом Варлаам, большой говорун, оценил брата Григория как великолепного слушателя. Он безропотно внимал разглашательствам толстого монаха о том, какую книгу тот напишет о путешествии в Святую землю и отдаст лучшим переписчикам. А может быть, ее даже напечатают на особом стане, который установлен в царских палатах. На этом стане Иван Федоров при Грозном отпечатал свой «Апостол», а с тех пор друкарский ⁷ станок, можно сказать, почти простаивал без дела. Да ведь и печатать на Руси нечего, кроме святых книг. А тут впервые появится описание паломничества...

– Глядишь, и тебя упомяну в книжице своей, – любил подшучивать Варлаам. – Так и пропишу: ушли мы, дескать, из Чудова монастыря с молодым братом Григорием, коему захотелось света белого повидать, а монашеское платье ему до того обрыдло, что он и не чаял, когда его снимет и под колоду запрячет!

При этих словах Варлаам разражался хохотом, а брат Григорий только слегка улыбался. Да, мысль сменить монашеское платье на мирское принадлежала именно юноше. Сначала-то они шли в иночьей одежде, в ней почти до Киева добрались Божьим попечением, но тут небеса от них отвернулись. Не иначе враг искусил Варлаама ввязаться в богословский спор с двумя торговыми людьми... Началось все с того, что смиренный брат потребовал на постоялом дворе, чтобы странникам отдали петушиную наваристую лапшу, приготовленную для купцов, уверяя, что служители Божии гораздо больше нуждаются в животной пище, дабы громким голосом славить Господа. Хозяин ничего не имел против, однако потребовал деньги вперед. Брат Григорий не отказывался заплатить. Денежки у него водились, Варлаам пытался вызнать, откуда, но брат Григорий не отвечал, и вскоре Варлаам отстал, справедливо рассудив, что коли этот молодой молчун готов на всех постоялых дворах оплачивать стол и кров для своего сотоварища, то пусть себе отмалчивается! Однако Варлаам имел неосторожность ответить, что платить не станет, а хозяину зачтется на том свете, пусть даже только горячими угольками. Это было любимое присловье толстого монаха, и Бог его ведает, отчего так разобиделся хозяин, однако на монахов накинулись все втроем: и он, и торговые люди, попечением Варлаама едва не оставшиеся голодными.

Толстый брат сначала пытался страшать их именем Господним, потом начал ругаться нечестивыми словесами, ну а потом подобрал полы рясы и дал деру, оставив брата Григория расхлебывать эту круто заваренную кашу. Тот предлагал деньги в отступное, но потом, когда тройца сварщиков потянулась к его пазухе, в которой лежал кошель, желая забрать все, начал драться и какое-то время споро махал кулаками, но один против троих не выстоял, был крепко побит, обобран до нитки (благодарение Богу, рясу не сняли да не сорвали мешочек со святыми мощами, висевший в мешочке на шее молодого монаха!) и выкинут за порог избы. Однако на этом драчуны не успокоились и, вооружась оглоблями, долго еще гнали бегущих монахов по озимому полю, выкрикивая словеса поносные. Варлаам с Григорием были слишком заняты спасением живота своего, чтобы не то что отвечать ударом на удар, но хотя бы просто отругиваться.

⁷ Печатный.

Потом насилу отдышались и сочли свои потери. Вышло, что лишились всех припасов и денег. Варлаам не мог успокоиться, все тешил диавола извивами словесными, ну а брат Григорий отчего-то хохотал, то и дело повторяя: «Ох, знали б они, кого отмутузили, кого с теткой Дубиной подружили... Ох, знали бы!» Слова эти остались Варлааму непонятными, да он в них особо и не вдумывался. Было о чем побеспокоиться и без того.

Как дальше идти? Чем питаться? Святым духом?

Брат Григорий, потирая ушибленные бока, пораскинул мозгами и сказал, что придется им либо попрошайничать, либо зарабатывать себе на жизнь, нанимаясь на работы в панских имениях, которые все чаще начали попадаться на пути по Украине. Брат Варлаам готов был лучше просить милостыню, но Григорий возроптал: зазорно-де попрошайничать! – и так рассердился, что спутники едва не разругались насмерть – впервые за всю дорогу. Нравом оба были как порох: быстро вспыхивали, но так же скоро и остывали.

– Здесь, в Южной Руси, небось православных не больно жалуют, – справедливо подметил Григорий. – Здесь униаты да католики кругом, так что не больно жди, что в твою торбу куски посыплутся. Придется потрудиться, чтобы с голоду не помереть.

– Кто ж нас наймет – в иночьей-то одежде? – не менее справедливо возразил Варлаам. – И много ли мы с тобой наработаем? Я человек книжный, ученый, к грубому труду не приучен.

– Зато я приучен, – успокоил его Григорий. – Покуда в монастырь не пришел, в добрых людях жил, у них много чему научился, да и в обители на конюшне не в сене спал. Не бойся, и сам прокормлюсь, и тебя прокормлю, а ты пойдешь ко мне в помощники. Но что касемо иночьей одежды, тут ты прав. А потому нам надо исхитриться платьишко раздобыть.

Прибарахлились они прямым разбоем: на первом же постоялом дворе обобрали двух перепившихся до беспамяත්ства мужиков, переоделись – и ушли тайно, оставив только свои рясы в уплату за стол и кров. Невесть почему, Варлаама это событие привело в отменное расположение духа, Григорий же огорчился. Когда уходили в предрассветную мглу, все оглядывался, словно пытался запомнить расположение деревни и избы на ее окраине, все бормотал что-то себе под нос.

Варлаам прислушался – и не поверил ушам!

– Я вам все верну, – бормотал Григорий. – Даю вам в том мое царское слово!

«Спятил! – решил Варлаам. – Не иначе ему мозги в той драке отшибли! Эх, вот незадача! Молодой, крепкий, здоровый, а умом тронулся...»

С тех пор он поглядывал на молодого своего товарища не без опаски, однако ничего такого безумного больше в его поведении не подмечал.

Без помех добрались они до Киева и поступили на двор воеводы, пана Константина Острожского, где имелось большое конское хозяйство и как раз до зарезу нужны были конюхи. Варлааму с непривычки трудиться было маетно, ну а брат Григорий чувствовал себя как рыба в воде. Варлаам вскоре на конюшне соскучился и засобирался идти дальше, тем паче что несколько злотых припасти удалось (платили у воеводы щедро, беда лишь, что работать приходилось до седьмого пота). И вот тут-то Григорий сызнава удивил спутника, ибо сообщил, что ни в какой Иерусалим идти не намерен и вообще более себя монахом не считает, а желал бы пробраться в Польшу. Для начала он уйдет в Гошу, попытается пристроиться при дворе пана Гойского, а когда наберется навыков, необходимых природному шляхтичу, рискнет пробраться в Брачин, ко двору Адама Вишневецкого, на помощь которого сильно рассчитывает.

– В своем ли ты уме? – спросил изумленный до заикания Варлаам, забывший даже спросить, а на что Григорию эта помощь и почему он убежден, что получит ее от Вишневецкого. – Ладно, пан воевода Острожский католиков смерть как ненавидит, поэтому всех разноверцев

привечает, так что у него служить православному человеку не зазорно. А пан Гойский – он же кто? Арианин! ⁸ Мыслимо ли тебе, православному человеку, с арианином сойтись!

– Да я сойду с чертом либо дьяволом, арианином либо католиком записным, ежели это меня хоть на полшага вперед продвинет, – с несвойственной ему грубостью ответил Григорий. – С иезуитом пить стану за здоровье Игнатия Лойолы, когда буду знать, что после той чарки обрету то, чего желаю обрести!

Тут Варлаам понял, что мозговая болезнь Григория усугубилась и скоро доведет его до ереси и полной погибели...

Проще всего было расплеваться с вероотступником. Варлаам так и поступил бы, когда б не ударили морозы. Тащиться через всю Украину – голодному, одетому кое-как, по снегу, без приюта... И ни в какой монастырь не прибудешь на зимний прокорм: здесь и впрямь православных не жаловали. Теперь делать нечего, кроме как держаться за Гришку. При нем хоть с голоду не пропадешь.

И товарищи ушли в Гощу. В ту пору у богатых панов очень легко было получить работу: слуги приходили и уходили, ну а опытные конюхи всегда были в цене. Оказалось также, что из Григория получится отменный псарь. Он был не какой-нибудь гультай ⁹, которому лишь бы время избыть, – нет, трудился воистину не за страх, а за совесть. У него был особенный дар врачевать заболевших собак, а свору свою пан Гойский любил чуть ли не больше, чем иных людей, поэтому очень скоро Гжегош (так Григория называли поляки) стал незаменим.

И очень скоро Варлаам вовсе перестал узнавать своего спутника. Из скромного монаха или прилежного конюха тот все больше превращался в подобие истинного шляхтича – пусть и безденежного, и неродовитого, и кое-как одетого, даже без карабела, то есть сабли – необходимой принадлежности истинного шляхтича. По-польски Григорий трещал теперь небось скорее, чем по-русски. Научился стрелять из лука и арбалета, а также из пистолы и пищаля. Скакал верхом и выделывал разные причуды в седле, что твой татарин! Даже богатые шляхтичи, наезжавшие в гости к пану Гойскому, скоро прослышали о небывалой ловкости Гжегоша и не гнушались ввязываться с ним в излюбленные шляхтой состязания: на лету подбить птицу, да непременно в голову; попасть пулей или стрелой в написанное на бумаге слово; перепрыгнуть с разбега через высокий забор; вскочить верхом, не коснувшись луки седла. Гжегош побеждал в этих состязаниях играючи. Бывало, бросится в седло – и ударится в такой скач, что чудится: прочие кони словно бы на месте стоят и лишь копытами перебирают. Но всего больше славы было ему за то, что он стрелял без всякого промаха. Бывало, заставит кого-нибудь держать между растопыренными пальцами поднятой руки монету, а сам выстрелит – и в монету попадет. На тридцати шагах промаху не давал!

Тем слугой, который держал монету, был, конечно, Варлаам... То есть сначала он отказывался из страха лишиться руки и быть вовсе застреленным, приняв пулю в голову, но, когда понял, что паны ставят на выигрыш-проигрыш немалые деньги, начал даже подзуживать Григория ввязаться в новый спор, который паны шляхтичи на французский манер называли чудно – пари. Так что скоро у бывших питомцев Чудова монастыря начали множиться злотые, и им не приходилось больше донашивать пожалованные паном Гойским обноски – разжились своим собственным платьем. Варлаам прикупил малороссийское одеяние, ну а Григорий иначе как в польское больше не одевался. Словом, жизнь у Гойского была вполне сносная, и Варлаам понять не мог, отчего она надоела приятелю. Тот все же решил исполнить свой замысел и засобирался в Брачин, к пану Вишневецкому. Поскольку до весны было еще далеко, а Брачин всяко лежал Варлааму по пути в Святую землю, тот отправился с Гришкой.

⁸ *Арианство* – род сектантства, религиозное вольнодумство, укоренившееся в Польше в описываемое время. Ариане признавали единого Бога, но не в Троице, полагали Иисуса Христа не сыном Божиим, а боговдохновенным человеком, отвергали крещение младенцев, стремились поставить свободное мышление выше религиозных догматов и т. д.

⁹ Лентяй, лоботряс (*польск.*).

Что и говорить, двор пана Вишневецкого их ошеломил! По сравнению с Брачином жизнь в Гоше показалась тихой и унылой. Пан Вишневецкий был воистину знатный шляхтич, он владел огромными имениями, жил на широкую ногу, а потому содержал большой штат слуг. Одни из них были шляхтичи – дворянского происхождения, они занимали ближайшие к панской особе должности, а в случае военных действий выходили в поле под панской хоругвью. Другие слуги все вместе звались либерией и составляли дворню: это были гайдуки, казаки, хлопцы, горничные и сенные девки и прочая прислуга.

Среди слуг наиглавнейшим был маршалок двора – дворецкий, который надзирал за порядком службы, принимал новых слуг и увольнял их, творил меж ними суд и расправу. Одним-двумя слугами больше, одним-двумя меньше – это не имело никакого значения, тем паче если они пришли со двора такого уважаемого человека, как пан Гойский. Поэтому после разговора с маршалком Григорий и Варлаам были без препятствий записаны в реестр княжеского двора. Их определили в либерию, однако послужить на псарне Григорий толком не успел: слег в горячке.

В тот день к пану Адаму приехала его родня: брат Константин с женой Урсолой и сестрой жены, а также отцом обеих дам, сендомирским воеводою – весьма важным, даром что низкорослым, шляхтичем. Готовилась охота. Да, это была любимая забава шляхты. Знатный пан не упустит случая пощеголять своими собаками, соколами да кречетами, ну а гости рады похвалиться блеском конских уборов, красотой скакуна, а главное – своей ловкостью и удальством!

На псарне шум и суэта стояли небывалые. Народ бегал туда-сюда, грязи развезли – шагу не шагнуть! И вдруг вбежал какой-то хлопец с криком: мол, приезжая панна Марианна, сестра пани Урсулы Вишневецкой, желает взглянуть на щенят нового помета – с тем чтобы отобрать себе добрую борзую. И через минуту во дворе появилась уже готовая к выезду в поле всадница на серой в яблоках, небольшой, будто точеной кобылке, а вслед за ней – и пан отец.

Шляхта принялась разметать грязь и пыль перьями своих шапок, либерия рангом пониже бухнулась на колени, ибо пан Юрий Мнишек был ближайшим другом прежнего короля, Сигизмунда-Августа, да и нынешним не обижен. Пан, не чинясь, спрыгнул с коня прямо в грязь да и скрылся в сарае, ну а вельможная панна, сидя в диковинном седле, замешкалась, даром что стреманный и коня придерживал, и колено подставил, чтоб удобнее с седла сойти.

А куда сойти? Не в жидкую ведь кашу глиняную!

Варлаам, стоявший с прочими на коленях, исподтишка косился на панну. Еще бы она не замешкалась, не желая запачкать в грязи свой крошечный замшевый сапожок! Райская птичка, а не девица. Сидит на тонконогой кобылке с блистающей, камнями украшенной упряжью, – вся такая маленькая, словно куколка выточенная, для охотничьей забавы в мужской костюм наряженная, но не в абы какой, а в шелк и бархат. Девка в шароварах! Такой уж обычай был в Польском королевстве, приводивший даже среднего ¹⁰ толстого монаха в немалое смущение, а уж о молодых хлопцах, конечно, и говорить нечего! Берет ее был украшен перьями и такими же самоцветами, как и упряжь лошади. Носик у панны Мнишек был востренький, но глаза – ох, какие же у нее огненные глаза!..

Варлаам расслышал рядом с собой сдавленный вздох и покосился в сторону. Григорий смотрел на панну словно на чудное видение: руку левую к груди прижал, а правой странно водил в воздухе, словно намеревался сотворить крестное знамение – да и забыл о том.

– Эй, ты чего? – ткнул его в бок Варлаам, и только тут Григорий очухался. Сорвался с места, скинул с плеч кунтуш – и швырнул его как раз на то место, куда ступила бы панна Мнишек, если бы решилась сойти с лошади.

¹⁰ То есть средних лет.

Она только раз на него глянула, а Варлааму почудилось, что в Григория ударило молнией, – так он закачался. Но тут недогадливая дворня словно проснулась: все кинулись срывать с плеч свитки, да азямы, да кунтуши и кидать наземь, так что скоро по двору протянулась словно бы ковровая дорожка, по которой и проследовала на псарню ясная панна, не испачкав своих маленьких ножек и не посадив ни малого пятнышка на синий бархат своих широких шаровар. А потом обратно по тому же ковру прошествовала, прижимая к груди крошечного толстолапного кобелька и шепча ему какие-то ласковые слова. За ней протопал отец, а потом оба ускакали с заднего двора.

Варлаам Яцкий про Англию знал только то, что есть на свете такая иноземщина, Бог весть кто в ней правит, а раньше на троне сидела королева по имени Елизавета, которую царь-государь наш Иван Васильевич как-то раз назвал в сердцах пошлой девицею. Но уж про сэра Уолтера Райли брат Варлаам слыхом не слыхал и, конечно, не знал, как этот самый сэр однажды сорвал с плеч свой роскошный плащ и кинул под ноги королеве, чтобы она не замочила ног, выходя из кареты. Может, брат Григорий и слышал когда-нибудь эту историю, хотя вряд ли... Так или иначе, но королева Елизавета сэра Уолтера всячески отличала и сделала его первым министром двора. Панна же Мнишек даже не удостоила Григория взглядом.

«Ишь, раскатал губу на такую кралю! – насмешливо думал Варлаам. – А сам-то худ, ростом невелик, рожей некрасив, смугл, с родинкой под носом, да и нос расплюснутый какой-то! Было б на что смотреть!»

Впрочем, панна вообще ни на кого из людей не глядела – только на своего щеночка.

Слуги принялись разбирать свою одежду, отряхивать, чистить, и только Григорий оставался неподвижным. Его кунтуш вовсе втоптали в грязь, так что когда Варлаам хотел его выудить и отряхнуть, то даже за самый краешек взяться побрезговал. Поэтому Григорий еще долгое время оставался в одной рубахе, а тут неожиданно задул северный студень ветер, который принес дождь со снегом. Охота по причине непогоды отменилась; своры загнали во двор, собак надо было накормить (перед охотой их для резвости и остроты нюха выдерживали голодными) – словом, хлопот было немало. Вот тут-то, видать, Григория и прохватило ветерком да сквозняком. К вечеру он занемог, к ночи совсем слег... и вот теперь Варлаам со страхом всматривался в пылающее от жара, вспотевшее лицо и думал: «Мать честная... как бы не помер! Куда я без него? Пропаду ведь!»

– Эй, Гришка. – Он осторожно потряс хворого за плечо. – Не помирай, а? Очухайся!

Тот медленно разомкнул веки, и на Варлаама взглянули горячечно блестящие глаза.

– Князя мне... позови, – выдохнул Григорий. – Князя Вишневецкого.

– Да ты что! – всплеснул толстыми ладонями Варлаам. – Очумел? Видали? Князя ему!

Григорий не ответил, снова смежил веки, и пальцы его начали снова по краю тощей ряднинки, которую только и нашел Варлаам для согрева больного товарища.

Понятно, что у парня начался бред, оттого и звал он не кого-нибудь, а самого князя. Но гораздо хуже для Варлаама было, когда Григорий не бредил, а лежал вот так молча, недвижимо, и даже широкий, в самом деле чуточку сплюснутый нос его казался заострившимся, словно у мертвеца.

«Ой нет, нельзя ему впасть в забытье. Помрет во сне, а так, за разговором, может, и не поддастся смерти, может, надоест ей ждать, она и пойдет за какой-нибудь другой душой, а эту оставит в покое!» – подумал Варлаам и крепко потряс товарища за плечо:

– Эй, Гриня, ты, брат, не спи! Ты мне скажи, на что тебе князь нужен.

Помутневшие голубые глаза снова поглядели на Варлаама, сухие губы разомкнулись:

– Сказать ему хочу... сознаться...

– В чем, в чем сознаться? – ближе наклонился Варлаам. – Может, украл на псарне щенка? – хихикнул он, желая хотя бы таким незамысловатым способом повеселить товарища, однако улыбка не взошла на губы Григория, а глаза остались серьезными.

– Сказано, позови мне князя. Прошу... умоляю тебя!

– Ишь-ка! – рассердился Варлаам. – Позови да позови. Мыслимое ли дело: приду к князю и скажу, псарь-де Гришка просит вас к своей милости пожаловать. И что он со мной после этого сделает? Мало оплеухой наградит, а то и в холодную сошлет. Выпороть прикажет.

– Сходи... – выдохнул Григорий. – Во имя Господа Бога!

Вот же приспичило. С больными спорить опасно. Надо было Варлааму молчком выйти вон, постоять на дворе, а потом воротиться и солгать: ходил-де к пану, а тот отказал. Нет же, потянул черт за язык:

– Невеликое мне дело – сходить. Да разве господин меня послушается? Ну кто ты есть таков, чтобы пан к тебе пошел? Он – воевода, шляхтич природный, князь Вишневецкий, а ты кто?

Между покрасневшими, опухшими веками словно бы синяя молния сверкнула. И голос больного вдруг зазвучал твердо, ясно, отчетливо:

– Да, он князь. А я – законный государь земли русской, царевич Димитрий.

Вслед за этими словами, от которых у Варлаама челюсть ниже плеч отвисла, Гришка растянул дрожащими, слабыми пальцами малый мешочек, который всегда носил на груди и про который Варлаам думал, что там святые мощи, и вынул из него крест из чистого золота, весь осыпанный алмазами. А в середине креста красовалось изображение русского двуглавого орла.

Январь 1605 года, Выксунский монастырь

Зимний сон, вечный сон... Снегом занесена, чудится, вся земля, до самого своего края. Мучительно стонут сосны и ели, обступившие убогие келейки, заметенные чуть ли не до самых крыш. Монастырь окружен высокой бревенчатой стеной, но она не преграда для метелей и воя голодного лютого зверя. Тоска сжимает сердце от этого воя! Тоска – вот искупление тем прегрешениям и соблазнам, от которых бежали женщины, нашедшие себе приют в самой сердцеvine непроходимой чащобы. Тоска и бедность: обитель находится далеко от больших городов, князья да бояре – обычные жертвователи монастырей – редкие здесь гости. Ведь сюда большую часть года нет ни проходу, ни проезду.

Как ни безотраден вид келий Выксунского монастыря, есть в нем келейка еще беднее, еще теснее прочих. Совсем низенькая, покряхтывающая избушка с плохо проконопаченными стенами. Внутри гуляет злой сквозняк, так и норовит задуть огонек лампадки, что теплится перед почерневшей иконой, на которой едва-едва различишь суровый лик Спасителя. Чудится, он недоволен той, что стоит на коленях пред образом. Да, губы ее шепчут слова молитвы, но в черных ввалившихся глазах нет смирения. Угрюмо сведены брови, и кажется, что инокиня не молит, но прокликает неведомого врага.

Увы, увы, так и есть...

Она провела здесь четырнадцать лет, а смирения – последнего прибежища отчаявшихся душ – так и не обрела. И все жив в памяти день, когда переступила порог этого убогого жилища инокиня Марфа – та, что звалась некогда царицей Марьей, седьмой женой всевластного государя Ивана Васильевича Грозного. Нет, она не хотела покрывать голову черным платом – насильно постригли ее в Угличе! В наказание – не уберегла, мол, царевича Димитрия.

Не уберегла, да... а кто уберет бы? И разве убережешь от всевластного врага, который небось замыслил убийство невинного младенца в тот самый день и час, когда умершему (а скорее всего убитому, отравленному!) царю Ивану Грозному наследовал слабоумный царь Федор – муж Ирины Годуновой, у которой был брат... После смерти Федора и Димитрия ему открылся путь к трону – он и направлял руку убийц невинного ребенка!

А бывшую царицу мало что лишили последней радости в жизни, так еще и загнали в эту тьму тмутараканскую, на край белого света, заперли в убогой келейке, приставили сторожей, от которых Марфа не видит ничего, кроме грубости и поношений. Какие-то звери в образе человеческом! Держат на хлебе и воде, ни шагу за порог сделать не дают, никого к опальной инокине не подпускают. Ну что ж, все понятно: страшится Борис, что хоть кому-то обмолвится она об истине – не о той, которую представил ему верноподданный хитрый лис Василий Шуйский, а об истинной правде о том, что произошло в тот страшный день в Угличе, – вот и содержат инокиню будто самую страшную преступницу.

Разве удивительно, что не смягчалось ее сердце? Разве странно, что скорбь о сыне сменялась в ее душе приступами бешеной злобы против Годунова? Ненависть к нему сделалась смыслом ее существования. Некогда молоденькая Марья Нагая жила во дворце Грозного одной мечтой: родить государю сына, чтобы избежать страшной участи своих предшественниц, не оказаться заточенной в монастыре. Сына она родила, но монастыря так и не избежала. И теперь молила Господа, мечтала об одном: покарать злодея! Покарать Годунова!

Чудился ей некий тать, крадущийся в ночи к ложу злодея, виделись картины страшной болезни, которая вдруг поразит всевластного временщика, а то мечталось, что Бог помутит его разум и станет он изгоем среди людей, одичает до образа звериного... А может быть, бояре, недовольные его самовластием, составят против него заговор, ввергнут в узилище еще более гнусное, чем то, в котором томится бывшая царица? А каково хорошо было бы, чтобы Бог прибрал его любимых детей, особенно старшую дочь Ксению, отраду его отеческого сердца!

В завываниях ветра меж деревьев слышались Марфе стоны и вопли Годунова над могилами чад своих... вот так же вопияла и она о сыне!

Однако не смилоствивился Господь над мольбами несчастной страдальицы. Вместо утешения скорбям ниспослал ей новое испытание. Как-то раз призвали затворницу к общей обедне, и приезжий священник возвестил «радостную весть»: взамен усопшего государя Федора Ивановича на русский престол взошел царь Борис Федорович Годунов!

Марфа тогда рухнула на пол как подкошенная: лишилась сознания, и долгое время потом чудилось ей, будто весь мир обезумел. Вместо ее сына, которому престол принадлежал по наследственному праву, царем стал его гонитель и убийца! Ужаснее этой вести могли быть только доносившиеся до Марфы слухи, будто бояре и весь народ слезно молили Годунова принять на себя государево бремя. А он заперся в монастыре и отказывался, отказывался, отказывался... Лукавил, злодей! Волк прикидывался овечкой! Гораздо более достойным веры казался Марфе другой слух: о том, как умирающий Федор никак не мог подыскать себе преемника, предлагал Мономахову шапку то одному, то другому из ближних родичей, имеющих хотя бы самое отдаленное право наследования, но те робели, сомневались, и длилось это до той самой поры, пока вперед не выступил Борис Годунов, не схватил символ верховной власти и не воскликнул: «Я возьму!» Так он стал царем, и это, мнилось Марфе, было куда более свойственно наглости выскочке, чем колебания и сомнения.

Так или иначе Борис стал царем... Теперь Марфе нечего мечтать о возмездии, об облегчении своей участи. Все кончено для нее.

Теперь она молила Бога о смерти для себя – не о здравии же царя и чад его было ей молиться! Но Господь все так же оставался глух к ее стонам, воплям и слезам. Шли дни, месяцы, годы, а желанная смерть не являлась. Видимо, и ей было не под силу одолеть дебри выксунских лесов. Заблудилась...

«Зачем я живу? Зачем?» – мучилась инокиня. Сына не защитила. Врагу не отомстила... Пустоцвет! Но постепенно, с течением лет, в беспросветную тьму ее существования закралась странная, полудикая мысль: «А что, если судьба недаром меня хранит? Что, если мой час еще настанет? Что, если идея брата Афанасия и Богдана Бельского была не зряшной?..»

Только эта надежда, чудилось, и заставляла охладелую кровь течь в жилах усталой инокини.

А годы шли, шли, шли. Совсем покосилась убогонькая келейка Марфы, сторбилась и сама инокиня, ее лицо – некогда красивое лицо еще не старой женщины – избородили глубокие морщины, однако мысль о мщении Годунову не покидала ее.

...Ах, какая выюга, как разгулялась непогода нынче! Чудится, за все годы, что провела Марфа в Выксунском монастыре, не свирепствовала так стихия. Даже подумать страшно, что надо выйти во двор и пройти десяток шагов до церкви. Нынче непременно надо быть у обедни. Снова приезжий священник сообщит какие-то новости из столицы.

Инокиня с трудом поднялась, оправила кlobук, взяла с полки старые, потемневшие от времени четки и, низко наклонив голову, чтобы не стукнуться лбом о притолоку, вышла.

Как ударило ветром в лицо! Скорей, скорей в маленькую тесную церковку!

Там почти темно. Только близ аналоя мерцают свечи. Мрачно поглядывают со стен лица святых угодников. Словно слабый ветерок, шелестит хор молящихся голосов. Согбенные фигуры монахинь напоминают призраки. Боже мой, неужто кто-то из них по своей воле похоронил себя здесь?.. Зачем, ради чего? Или их тоже постригли силком, как ее, несчастную?

Седой священник служит обедню. Вот вышел на амвон, возвысил голос – и Марфа решила, что враг рода человеческого морочит ей голову...

– Гришке Отрепьеву, расстриге и вору, именуящему себя царевичем Димитрием, погребенным в Угличе, анафема! – явственно донеслось с амвона. – Анафема! Анафема!

Пол заходил ходуном под ногами Марфы.
Анафема? Даже этого мало для святотатца, который осмелился назваться именем сына.
Гришка Отрепьев... Кто такой Гришка Отрепьев? Откуда он взялся и почему?
Картины тех страшных угличских дней и ночей вмиг воскресли в памяти Марфы.
Господи!
Неужели?..

Сентябрь 1602 года, Москва

– Да что вам тут, медом намазано, что ли?! – почти в отчаянии вскричал молодой мужик, поднимая на руки перепуганного ребенка, но его словно бы никто не слышал: народ валил валом, все с разгоряченными любопытством лицами, с горящими глазами, рты распялены в улыбках, руки машут... С ума сойти, что за зрелище! Словно и не толпа, а бурный поток стремится по улице. Человека, пытавшегося перейти поперек, хватало, скручивало, волокло по течению, словно жалкую щепку, – не вырвешься, не прорвешься. Хочешь не хочешь, а продвигайся вперед, вместе со всеми, да знай шевели своими ногами, не то чужие тебя затопчут.

Вот уж воистину: попала собака в колесо – хоть пищи, да беги!

– Ой, боярышня моя! Ой, где ты, куда подевалась?! Ой, спасите, кто в Бога верует! – причитала девица с белобрысыми, мелко вьющимися надо лбом волосами, по виду – служанка из богатого дома, из последних сил пытаясь противостоять напору толпы и отчаянно вертя головой, выискивая потерявшуюся госпожу. – Сударынька! Боярышня! Здесь я, здесь! А ты где?!

Напрасно звать, напрасно кричать!

– Да не бейся ты, голубонька, – пожалела в конце концов беспокойную беляночку молодая баба в нарядном повойнике и шитой шелком душегрее (москвичи нынче на улицу вышли нарядные, что мужики, что бабы: любо посмотреть!). – Не докличешься, ну да ничего, чай, не дитя твоя боярышня, сама до дому доберется.

– Ежели никто кусман от нее не отщипнет! – подзудил какой-то разбитной горожанин, по виду приказная душа, и громко заржал.

– Тьфу на тебя! – сердито плюнула молодка, и тут же всех троих растащило в разные стороны.

– Ой, грех, ой, беда, ой, не сносить мне головы! – причитала девица, даже и не слышавшая их краткой перебранки. – Пропала, пропала я!

Толпа ярилась, неслась, шумела, кипела, словно водоворот, и белянка, влекомая этой неумолимой волною вперед, все реже и реже могла видеть в сумятице человеческих голов черную, смоляную, гладко причесанную головку боярышни.

Та в свой черед тоже пыталась высмотреть спутницу, озиралась, испуганно сверкала глазами, но в конце концов поняла, что из толпы не выбраться, придется смириться.

Конечно, никто из них, ни госпожа, ни ее верная служанка – горничная девка, такая же отчаянная голова, как и боярышня, готовая на все ради исполнения ее минутной прихоти, – никто из них и представить не мог, чем обернется сия отчаянная вылазка. Казалось, все так просто: выскользнуть из дому, пробраться огородами к задней калитке, которую отворит им жених служанки, готовый ради ее прихоти на все, хоть и голову на плаху положить. Девушки решили от огородов закоулочками добежать до Тверских ворот, а там где-нибудь притулиться на обочине, чтобы из-за спин людских, украдкой посмотреть, как в Москву въезжает датский королевич Иоганн, по-русски Иван, коего государь Борис Федорович нарочно выписал из заморской державы, чтобы просватать за него свою единственную дочь Ксению. Сам государь с сыном намерен был наблюдать за въездом именитого гостя с кремлевской стены, ну а народ вышел встречать жениха царевны на улицы.

О приезде датского королевича известно было еще загодя. А нынче спозаранку проскакали по улицам бирючи¹¹, выкликавшие, чтобы все иноземцы, жившие в Москве, а также все прочие жители столицы, бояре, дворяне, приказные, купцы и простолюдины, оделись как

¹¹ Глашатаи, вестники.

можно краше, каждый в свое самое лучшее платье, чтобы оставили в этот день всякую работу и шли в поле за Москву – встречать датского королевича. А если кто имел верховую лошадь, должен был ехать на ней в красивейшем уборе.

Приказание было с охотой выполнено, потому что Ксению Годунову в Москве любили – не в пример ее отцу, государю! Любили за красоту, которой всегда молва наделяет девиц из царского дома. Но тут молва была ни при чем, ибо всем было известно, что Ксения и впрямь первая красавица на Москве, а может, и по всей Руси. Косы трубчатые, брови союзные, очи темные, щеки румяные, а лик и тело молочно-белые.

Впрочем, не зря гласит народная мудрость: не родись красивой, а родись счастливой! По всему видно, судьба на сей дар для царевой дочки не больно расщедрилась, ибо засиделась наша красавица в невестах, а первая попытка отца-государя добыть для нее жениха закончилась неудачей, даром что портрет Ксении, весьма искусно сделанный придворным ювелиром Яковом Ганом и отвезенный послом Постником Дмитриевым в иноземные государства, привел в восторг всех, кто только видел лицо русской царевны.

Надо быть, теперь участь ее будет счастливой. По слухам, королевич Иоганн и собой пригож, и нравом добр, смирен – не в пример прежнему жениху, шведскому королевичу, незаконному сыну короля Эрика. Королевич Густав прибыл в Россию тише воды ниже травы, но от царских непомерных милостей раздулся, словно водяной пузырь. Нравом он оказался сущий позорник, нечестивец, охальник, каких свет не видывал!

Мыслимое ли дело – привез с собой из Данцига в Россию любовницу. Мужнюю жену какого-то там Христофора Катера, с которой сошелся, покуда квартировал в его гостинице. Прижил с ней двоих детей – их тоже в Россию притащил. И поселился с ними в роскошном дворце, который нарочно для него выстроил царь Борис. Катал всех их в карете, запряженной четверней (тоже государев подарок!), а жили они на доходы с Калуги и трех других городов, выделенных Густаву «в кормление» щедрым русским государем. Долго терпел царь, пока наконец не потерял терпения и не сослал Густава в городок Кашин. Так лопнул пузырь по имени шведский королевич Густав. А царь Борис стал выискивать дочери другого жениха...

Между тем коловерчение в толпе прекратилось: народ достиг стрелецкого оцепления, выставленного вдоль дороги, и замер в ожидании.

– Ох и обоз у него! Ох и поезд! – раздавались со всех сторон голоса. – Неужто это все наш царь ему надарил? А слуги? Свои у него слуги или нанятые? И хорошее ли жалованье им дают?

– Сказывают, людей он своих привез к нам на прокорм, – проговорил знающим голосом какой-то немолодой купец. – Кого только не набрал! Попа своего и разных попиков, поваров со стряпухами и поварятами, служителей комнатных, учителей, чтоб его обучали шпагами швыряться, музыкантов своих, на ихней музыке играть обученных... Да это что! Даже палача своего прихватил!

– Палача?! – Это известие повергло окружающих сначала в состояние оцепенения, а потом заставило разразиться хохотом.

– Неужто на Москве он палача б не нашел? Большое дело – убить человека! Хошь бы кнутом надвое развалить, хошь бы руками разорвать. Взяли бы хоть меня на испытание! – похвалялся широкоплечий мужик с широко расставленными, очень светлыми глазами, придающими его скуластому лицу лютое выражение.

– Да у нас палачей готовых леса полны придорожные, а ежели поискать хорошенько, небось и в Москве отыщешь! – присовокупил другой – на вид послабее первого, но с хитрым, лукавым лицом.

– Небось и при дворе найдешь! – подхватил третий с простоватым лицом деревенского увальня, но купец, тот, который все знал о слугах королевича Иоганна, погрозил ему толстым пальцем:

– Никшни, добрый человек! Придержи язык! Слышал небось, что царь доносчиков нынче нарочно в толпу запустил, чтоб выслушивали, вынюхивали да выслеживали? Чуть кто скажет слово опасное, тех велено хватать да в застенки тащить. Так что... сиди на печи, жуй калачи, а сам молчи!

Темноволосая девушка, зажатая меж двух толстых москвитянок в дорогом узорочье, кажется, была очень недовольна этим разговором. Она метала сердитые взгляды на соседей, краснела, поджимала губы, но в мужскую беседу благоразумно не вмешивалась. Не девичье это дело, засмеют, осрамят! К тому же она была занята тем, что пыталась натянуть на лицо сбившуюся фату, оправить душегрейку, надетую на богато шитый сарафан, расправить часто низанные ожерелья и ленты в тяжелых темных косах.

Судя по одежде, скромной, но в то же время затейливо изукрашенной, эта девушка была из очень хорошего дома, и двое-трое мелких воришек, затесавшихся в толпу, которым прежде стремительное движение народа не позволяло приступить к своему ремеслу, теперь начали повнимательнее приглядываться к красавице, прикидывая, как бы половчее срезать у нее жемчужные зарукавья да пощипать камешков, которыми были щедро изукрашены душегрея и перед сарафана. Недурны также были жуковинья¹² и серьги с бубенчиками – по виду из чистого золота!

Напрасно старалась девушка прикрыться фатой – ее богатство уже было примечено ушлыми взорами воришек, и не только примечено, но даже и поделено меж ними.

Однако лиходеи не подозревали, что и сами примечены внимательным взором. И стоило только одному из них, побойчее да пошустрее, пробиться к девушке, как около нее, легко, словно играючи раздвинув окружающих, оказался какой-то мужчина. Был он еще молодой, лет двадцати, никак не более, и ростом не Бог весть какой богатырь, однако брови его так сурово нахмурились при одном только приближении воришки, губы так неприступно сжались, а в голубых глазах всколыхнулось столько мрака, что карманных дел мастера сочли за благо просочиться меж людскими телами и раствориться в толпе, причем даже с гораздо большим проворством, чем пробирались к девушке.

– Лучше ты опереди, нежели тебя опередят, – пробормотал молодой человек на латыни как бы про себя, однако явно рассчитывая быть услышанным. И расчет сей оправдался: народ от него незаметно отступил, елико позволял напор толпы.

Кто его разберет, может, колдун какой? Может, чернокнижник? А то просто-напросто умишком повредился? Бормочет невесть что!

Однако слова голубоглазого молодого человека явно были рассчитаны не на всех. Судя по его быстрому, исподлобья, взгляду, он желал, чтобы латынь сия была прежде всего услышана красивой девицей. И, увидев, как ее темно-серые, в тени густых ресниц казавшиеся черными глаза обратились на него, уловив вспыхнувший в них блеск нескрываемого недоумения, он понял, что расчет его оправдался.

Она его явно поняла! Она явно знает латынь! Значит, догадка его была верна с самого начала!

Молодой человек покачал головой, изумляясь прихотливости случая, который и всегда был его кумиром и верным сотоварищем, а нынче оказался к нему особенно благорасположен. Выходит, не напрасно он вышел, как всегда, пошататься возле Хорошевского дворца, который был известен как любимое жилище государя Бориса! Там царь неявно принимал некоторых иноземцев, к которым всегда был расположен куда больше, чем к соотечественникам; там по большей части жила его дочь.

Дочь. Ксения...

¹² Перстни с камнями.

Молодой человек усмехнулся. А он до последней минуты никак не мог поверить, что глаза не обманули его, что видит в этой обезумевшей толпе не кого-нибудь, а именно ее. В Польше, где он недавно побывал, судачили: в Московии-де обычаи насчет женщин необычайно суровы, предписывают им чуть ли не полное затворничество. Однако какая польская принцесса или хотя бы княжна, та же своевольница панна Мнишек, позволит себе ускользнуть из дворца и ринуться очертя голову на городские улицы, рискуя быть ограбленной, обруганной, обесчещенной, узнанной?!

Нет, быть узнанной эта шальная девка ничуть не рискует. Кому может взбрести в голову, что дочь Годунова, теремница-затворница, оказалась настолько смелой и любопытной, что решила на это опасное путешествие?!

Вообще говоря, понять ее можно. Небось видела прежде только портрет своего предполагаемого жениха, а в лучшем случае ей предстоит до того, как возведут на брачное ложе, увидеть суженого из-за какой-нибудь занавески или – тоже случайно – в церкви. Ну, это едва ли... Вот отчаянная девушка и решила поглядеть, для кого ее высватали.

Ох, смела! Ему по душе женская смелость. Эта девка ему пара!

Человек невольно хохотнул, вообразив, какое лицо сделалось бы у царя Бориса, узнай он о том, *кто* имеет виды на его дочь. Наверняка государя всея Руси удар бы хватил. А впрочем, удар хватил бы его еще раньше – прознай он, что девица-невеста тайно убежала из дому и стоит в толпе, где к ней может прижаться любой и каждый мужчина, будь он хоть самого подлого звания. И никак не уберечься от этого!

Если только ее не возьмет под свое крылышко какой-то добрый человек. Такой, как он сам...

Разумеется, теперь, узнав Ксению, он просто не может оставить ее одну. Ведь служанка вряд ли сможет отыскать свою госпожу. Кто же проводит ее до дому?

Между тем народ взволновался снова. Поезд королевича Иоганна, состоявший из множества великолепных карет и роскошно одетых всадников, приближался!

Вблизи Тверских ворот стоял красивый боярин в алтабасовом¹³ кафтане, по которому волной шел свет от множества украшавших его разноцветных камней. Боярин держал в поводу аргамака, сбруя коего сияла золотом. Это был Михаил Иванович Татищев, ясельничий государев, державший коня самого царя. Конь этот был знаком высокой чести, которую Борис Годунов намеревался оказать своему будущему зятю.

Затаив дыхание, смотрели москвичи, как из самой красивой кареты, затканной изнутри алым шелком, а сверху покрытой литыми золотыми пластинами, вышел хрупкий молодой человек в черной шляпе с пером, в черном бархатном камзоле с широченным белым кружевным воротом, на который спускались светлые длинные вьющиеся волосы. Его лицо было нежным, словно у отрока, и то и дело заливалось застенчивым румянцем. Правда, нежные черты несколько портил большой горбатый нос, но, судачили в толпе, с лица воду не пить, а красоты царевой дочки вполне хватит на двоих: и на нее саму, и на жениха.

Да, юноша в черном бархате и был брат датского короля, герцог Иоганн, которому здесь предстояло пересесть на государева коня и далее проследовать в Кремль верхом, в сопровождении ясельничего Татищева и дьяка Афанасия Власьева, который и устраивал, собственно говоря, будущий брак, ведя переговоры с датским правительством от имени Бориса Годунова.

Королевич медленно – возможно, медлительность сия была вызвана важностью, но, возможно, и неловкостью – взобрался на коня, уместился в высоком, затейливо украшенном седле, и поезд снова тронулся в путь, сопровождаемый стрельцами в белоснежных кафтанах.

¹³ Алтабас – персидская парча.

– Довольны ли вы этим господином, сударыня?

Девушка с косами, которая, увлекшись разглядыванием королевича, уже успела забыть о невзначай услышанной латинской фразе, оглянулась на своего соседа с новым изумлением.

Выглядит как простой горожанин, даже не приказный, а человек самого простого звания, однако же такого разговора люди низкого происхождения не ведут! Он округло нанизывает слова, красиво выговаривает их. Кроме того, обращается к женщине на «вы» – а это уже вовсе дивное диво. Такой речи она не слышала даже от бояр. Разве что Еремей Горсей, английский приятель отца, всегда говорит особам противоположного пола «вы».

Может быть, сей незнакомый человек – иноземный гость? Но что ж он так просто, даже убого одет? Иноземцы любят выставлять свое богатство напоказ! Тем паче странно видеть чужестранца в такой невзрачной одежке именно сегодня, когда все обитатели Немецкой слободы загодя получили царев указ: выйти в день встречи Иоганна на улицы, нарядившись как можно краше.

Девушка еще раз покосилась на своего соседа и подметила, что он стоит совсем близко к ней. Пожалуй, никогда еще она не находилась в такой опасной близости от мужчины.

Девица попыталась отшагнуть в сторону, но толпа, возбужденная появлением долгожданного королевича, сгрудилась еще теснее, так что, вместо того чтобы отстраниться, девушка невольно прильнула к незнакомцу. Кроме того, он крепко стиснул ее руку своими пальцами, которые показались ей необычайно сильными и горячими. Причем мизинец вдруг мягко скользнул по запястью вверх, приник к прохладной коже и норовил протиснуться под тесное зарукавье.

Девушка рванулась, охваченная страхом, а главное, приступом неодолимого отвращения, которое поразило ее сильнее страха. Однако незнакомец держал крепко.

– Пусти меня, слышишь? – прошипела девушка, которой так и ударила в голову яростная, неистовая кровь ее предка Малюты Скуратова, бывшего некогда другом и товарищем самого грозного царя Ивана. – А ну пусти, не то закричу!

– Кричите! – усмехнулся незнакомец, прижимая к себе девушку еще теснее, и, глянув в его лукавые глаза, она вдруг с ужасом поняла, что он знает, с кем имеет дело.

Ее тайна раскрыта! Да это сам сатана, не иначе! Кто другой мог бы узнать ее в этой толпище?!

– Кто ты? – пролепетала она, мигом забыв о гневе в припадке неистового ужаса: что теперь делать? Как быть? Ведь она не может позвать на помощь, не назвавшись, а кто ей поверит? Сочтут кощунницей-самозванкой, крикнут стражу... Разве докажешь, что говоришь правду? Пока добьешься истины, со спины плетью семь шкур спустят, даром что девка, а то и заруют заживо в землю... хуже того – снасильничают!

И этот незнакомец прекрасно понимает весь ужас ее положения. Понимает – и откровенно насмехается над ней.

– Да, по всему видать, сей королевич – порядочная тряпка, – сказал он своим мягким голосом, который вызывал у девушки неприятную дрожь. – Этот пороку не выдумает! Он должен руки государю лизать за то, что тот вытащил его из унылого Датского королевства, где он небось куска сладкого не видел. А в Московии его от самого корабля только что на руках не несут и мостовую боярскими бородами не подметают. Поди, опомниться не может от такой чести. А между тем той пышностью, с какой наш государь привечает всякое отребье, назначенное вам к женихи, он сам себя же и унижает. Как бы сообщает: я изначально ниже вас родом, я обманом влез на трон...

Девушка содрогнулась от нового приступа возмущения и нашла наконец в себе силы вырвать руку из жадных пальцев, ползавших по кисти, словно насекомое.

– Да как смеешь ты про моего батюшку такое говорить? – прошипела с ненавистью, отбросив всякое притворство. – Кто ты такой? Откуда взялся?!

– Кто я, спрашиваешь?

Он так и оскалился, словно был необычайно доволен этим вопросом. Девушка заметила, что его зубы хоть и белы, но спереди изрядно щербаты.

– Кто я?.. Ладно, откроюсь. Я тот самый камень, о который споткнется наш государь на своем чрезмерно гладком пути. Тот самый ухаб, на который он скоро наедет – и... Слышала загадку: «У каждого свой ухаб – не объехать его никак!» Отгадка – смерть. Так вот, я... – Он прямо поглядел в расширенные глаза девушки, наслаждаясь ее ненавистью. – Я тот, кого отец твой боится пуще самой смерти. Поняла?

Май 1591 года, Углич, дворец царевича Димитрия

– Матушка-царица, – заглянула в комнату нянька Арина Жданова, – изволь выйти к царевичу.

Марья Федоровна, сидевшая у окна за пяльцами и споро, меленькими стежками, пришивавшая жемчужную нить, которая долженствовала окаймлять убор Пресвятой Девы, впала в глубокую задумчивость. Мысли ее витали далеко-далеко от Углича, поэтому она от неожиданности вздрогнула и вонзила иголку под ноготь.

– Ах, сила нечистая! – сердито обернулась она к няньке. – Чего тебе? – Но тут же увидела, что глаза Арины Ждановой полны слез, и схватилась за сердце: – Господи! Что с царевичем?.. Неужто опять на скотный двор побежал?

– Туда, государыня! – часто закивала Арина, которая по-прежнему величала вдовицу Марью Федоровну тем титулом, который та не носила вот уже семь лет.

– Ах, постреленок! – сердито бросила Марья Федоровна. – Ну, мне одной с ним не сладить. Беги за братом Афанасием. Может быть, хоть его Димитрий послушается.

Но все-таки отложила моточек жемчуга, воткнула иглу в вышивание и, как могла, споро (бегать царице, даром что бывшей, все-таки невместно!) начала спускаться по лестнице терема.

К счастью, Афанасий Нагой подоспел на скотный двор раньше. Сойдя с крыльца, Марья Федоровна с облегчением увидела, что брат ведет царевича, крепко придерживая за плечо, а тот хоть и рвется, но напрасно.

Первый взгляд Марья Федоровна бросила на руки мальчика. По счастью, руки его были чисты.

– Вот, успел, – сказал Афанасий, подталкивая мальчика к матери, но не отпуская. – Еще не опоганился.

– Слава Богу! – от души вздохнула Марья Федоровна. – Что ж ты, чадо мое, опять за старое принялся? Уже не раз божился, что больше не станешь, а сам-то...

Димитрий зыркнул на нее исподлобья темными глазами и хмуро отворотился, принялся носком сапожка чертить какие-то разводы в белом песочке, которым были посыпаны дорожки во дворе. Пробурчал что-то невнятное. Может, божился заново? Может, клялся: мол, больше не буду?

Странно. Марье Федоровне почудилось, он сказал: «Хочу и буду!»

Ну и нрав у этого мальчишки! Недобрый нрав! В кого только уродился? Хлебом не корми – дай пробраться на скотный двор, когда там скотину, быков или баранов режут. А уж когда начнут на кухне головы цыплятам сворачивать, у него аж руки дрожат от нетерпения. Оттолкнет повара, сам вцепится в птицу... Как-то раз Марья Федоровна увидела такое – ее чуть наизнанку не вывернуло. Оттащила царевича от стола, на котором лежали тушки с нелепо запрокинутыми головами, уже руку занесла, чтобы отвесить добрую затрещину, но вовремя поймала недоуменный взгляд стряпухи – и руку поспешила опустить. Хотя стряпуха смотрела сочувственно: небось и ей самой была неприятна такая жестокость царевича.

– Ну что поделать, матушка-царица, – сказала она тихонько, – известно: яблочко от яблоньки... Чай, его сын, его кровиночка!

Марья Федоровна ни словом ответным не обмолвилась, хотя намек поняла мгновенно: стряпка думала, что жестокосердие свое царевич унаследовал от отца, царя Ивана Васильевича, заслужившего прозвание Грозного. С трудом сдержала тогда всколыхнувшийся гнев: бешеный нрав царевича – как бы и ей упрек, что не в силах его смягчить.

Не в силах, это правда! Остается только терпеть его мстительность и жестокость, склонность к внезапному буйству, свойственные истинному сыну Грозного. Смотреть, как с насла-

ждением он разбивает носы детям жильцов¹⁴. Петрушке Колобову, Бажену Тычкову, Ваньке Красенскому и Гриньке Козловскому. Те ворчали, грозились, но сопротивляться не осмеливались. Однако царевичу больше нравились вовсе бессловесные противники. Однажды зимой велел слепить двенадцать снеговиков, нарек их именами приближенных царя Федора Ивановича, своего старшего брата, и с криком: «Вот что вам всем будет, когда я стану царствовать!» – принялся махать деревянной саблей, напрочь снося снеговикам головы. Ох какая ярость горела в эти минуты в его черных глазах!

Марья Федоровна подступиться, окоротить царевича боялась. Послала Оську Волохова, сына мамки царевича, Василисы, но тот едва успел увернуться от удара саблей – пусть деревянной, но переломить нос или челюсть набок своротить ею можно было запросто. Насилу мальчик угомонился. Братья Марьи Федоровны, Афанасий и Федор, только головами качали: вот как дойдут эти словеса до Бориски Годунова... ему-то все равно, кто их произнес, дитя неразумное или взрослый человек. Все-таки в числе этих снеговиков один был наречен его именем... Будет искать крамолу как пить дать!

Обошлось тогда. Вроде бы обошлось. Может, опасность и исходила от Бориса, но она была неявная. Беречь царевича следовало прежде всего от него же самого!

С некоторых пор он прихварывал. Случались припадки какой-то болезни, которую вполне можно было назвать падучей, черной немочью. Во время этих припадков он делался поистине безудержным – как-то раз сильно оцарапал мать, укусил за палец Василису Волохову, да как, до крови!..

Ох, как тошно стало Марье Федоровне, когда она увидела этот прокушенный палец, когда утирала свою оцарапанную щеку! Заломила руки – так захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Все на свете, кажется, отдала б, душу заложила бы, только бы встать на высоком речном берегу, чтоб внизу простиралась сизая, слегка волнистая гладь, над головой березка шелестела меленькой майской зеленой листвой. Чтобы подальше от Москвы... где-нибудь в нижегородской глуши... чтоб видеть вокруг луга бескрайние, а по траве, пестрой от цветов, бежал бы к ней мальчик кудрявый, царевич Митенька, сынок...

Царица боялась этих мыслей. Всего боялась. Плохо спала. Чувствовала приближение грозы.

И гром грянул в мае.

¹⁴ Жильцы – сословие уездных дворян, живущих при государях или членах их семей временно, состоящих на воинской службе.

Февраль 1601 года, имение князя Вишневецкого

– Что такое творится с твоим мужем, сестра? Я его просто не узнаю! – Панна Марианна Мнишек полулежала на ковре, таком большом, что он застилал половину комнаты, и играла с новым щенком. Сказать по правде, это слюнявое неуклюжее существо ей уже несколько надоело, но занять себя все равно было нечем, а потому она продолжала трепать его за бархатные ушки, гладить по влажному носу и почесывать толстенькое брюшко.

– Ради всего святого, не клади ему палец в рот! – недовольно сказала Урсула Вишневецкая. – Откусит же!

– Да у него еще зубов нет, – засмеялась Марина. – Он же совсем малыш!

Сестра брезгливо передернула плечами. Урсула была известна тем, что терпеть не могла собак, так что у них дома в Заложнице псарня была маленькая, бедная, охота – только соколиная, зато соколов и кречетов – воистину не счесть. Константин Вишневецкий горячо любил жену, даром что взял бесприданницу (ее отец пан Мнишек отлично умел устраивать свои дела с помощью выгодных браков своих детей и родственников!), и за счастье почитал исполнять всякую ее причуду. Более заботливого мужа среди шляхты, не отличавшейся верностью и нежностью к венчанным женам, трудно было найти, и тем более удивительным казалось то, что вот уже который день он почти не обращал внимания ни на Урсулу, ни на ее сестру Марианну, к которой питал горячую привязанность и глубоко уважал за точный, холодный («Ну совершенно мужской!» – как говаривал иногда Константин), расчетливый и надменный ум.

– Один Господь и его ангелы знают, что за новую игрушку нашли себе Константин с Адамом, – пожалала плечами Урсула. – Ты разве не слышала? Об этом сумасшедшем хлопце из конюшни теперь говорят все, кому не лень, даже, кажется, в поварской.

– И что же он такого сделал? – довольно равнодушно поинтересовалась Марианна, разглядывая тот крошечный стручок, который торчал между задними лапами щенка.

– Да ничего особенного, – отозвалась Урсула, с тайной насмешкой наблюдавшая за своей всегда надменной, холодной к мужским домогательствам сестрой. – По слухам, он захворал и чуть не помер, а в бреду назвался всего-навсего...

Внезапно она умолкла.

Марианна перестала рассматривать щенка и подняла глаза на сестру, удивленная этим неожиданно воцарившимся глубоким молчанием.

Урсула сидела, вытянув шею (и без того чрезмерно длинную и тонкую, по понятиям старшей сестры!), и пристально смотрела в окно. Марианна открыла рот, собираясь спросить, что же она там такое углядела, однако Урсула поднесла палец к губам, призывая к молчанию, заиграла своими грациозными бровями и принялась усиленно кивать на подоконник. И тут Марианна увидела мужскую руку с худыми, но очень сильными пальцами, которая вдруг высунулась на свет, положила на окно бумажный свиток – и исчезла.

Марианну пробрала невольная дрожь. Чудилось, это была длань призрака, возникшая из ночной тьмы лишь для того, чтобы искусить ее жгучим, непереносимым любопытством, которое вдруг вспыхнуло в душе ослепительным пламенем. Никогда до сих пор не знала холодная, сдержанная панна такого внутреннего жара! Слово бы судьба ее глянула звездными глазами с темного небосклона, поманила сверкающей улыбкой, осенила поцелуем надменное чело – и...

Марианна опомнилась. Оттолкнула щенка, потеряла заледеневшие от волнения пальцы.

Да что это с ней? Разве мало довелось ей прочесть любовных записок? Еще одна, не более, к тому же, возможно, адресованная не ей, а Урсуле. Это не считалось дурным тоном, когда шляхтичи оказывали подчеркнутое внимание жене хозяина и даже объяснялись ей в нежных чувствах, умело и ловко соединяя галантность и даже куртуазность с почтительным

восхищением истинного рыцаря. И все-таки Марианна почти не сомневалась, что увидит на письме свое имя.

Да! Она не ошиблась!

«Лучезарной панне Марианне Мнишек, ослепившей взор мой и в одно мгновение, подобно Цирцее, обратившей меня в своего покорного, верного, до смерти преданного раба» – так был, совершенно в духе того времени, подписан бумажный сверток, и Марианна сперва задохнулась от этих дерзких и в то же время трепетных слов и лишь потом сообразила, что они написаны не по-польски, а по-латыни.

Марианна глянула в окно. Тьма! Никого. Но откуда взялось это ощущение горячего взора, который касается ее, словно нескромная рука?

Она невольно отпрянула под защиту стены.

– Что там? Что? – Урсула нетерпеливо вскочила с кресла.

– Во имя Бога, затвори окно! – прошептала Марианна, срывая нитяную обвязку и разворачивая бумагу. Мельком она отметила, что на письме нет печати – на нитке просто висит комок сургуча, – а это значит, что человек, подбросивший письмо, не носит фамильного перстня.

Кажется, на сей раз поклонник панне Мнишек достался совсем безродный! Надо было отшвырнуть брезгливо эту цидулку, однако судьба голосом Урсулы нетерпеливо нашептывала: «Читай, да читай же!» И Марианна впиалась глазами в неровные, нервные строки письма.

«Поверьте, прекрасная дама: тот несчастный, который до безумия любит вас, дал бы выпустить себе по капле всю кровь, чтобы подтвердить правдивость каждого своего слова. Вы вошли на тусклом небосклоне моей жизни словно ослепительная звезда, любовь к вам открыла меня. Благодаря вам я понял: настало время сознаться, открыть свое истинное имя. Довольно влачить жалкий жребий, навязанный мне убийцей моего отца и гонителем моей матери, пора смело взглянуть в глаза своей судьбе, принять ее поцелуй – или тот губительный удар, который вновь низвергнет меня, ожившего мертвеца, в царство призраков, откуда я вышел ненадолго, поскольку тень отца моего меня воодушевила.

Знайте, панна Марианна, что, будь я тем, кем меня привыкли считать окружающие, то есть наемным хлопцем Гжегошем или беглым монахом Григорием, я предпочел бы умереть от безответной любви к вам, но не осквернить ваш слух своим убожеством. Но обстоятельства моего происхождения позволяют обратиться к вам почти на равных, ибо я есть не кто иной, как младший сын царя Ивана Васильевича, прозванного Грозным, и его жены Марии Нагой. Имя мое Димитрий Иванович, и, если бы сложились обстоятельства в мою пользу, я воссел бы на российский трон и звался бы Димитрием Первым...»

Прочитав эти слова, Марианна с изумлением поглядела на сестру. Урсула тоже уставилась на нее возбужденными глазами:

– Он сошел с ума! Он сошел с ума, этот холоп!

– Сумасшедшие и холопы так не пишут, – медленно покачала головой Марианна.

– Ты ему веришь? – усмехнулась сестра. – Как ты можешь верить человеку, которого никогда не видела?

Марианна пришла в замешательство. Отчего-то при первых же словах этого пылкого, но и впрямь полубезумного послания у нее в памяти возник невысокий худощавый хлопец из конюшни, который бросил ей под ноги свой кунтуш. В самую грязь! Уж Марианна-то Мнишек, любительница изящной словесности и исторических сочинений, слышала про сэра Уолтера Райли и вполне оценила порыв холопа, достойный по красоте поступка истинного шляхтича. Лица этого парня она почти не помнила – только его стремительное движение и пламенный взгляд темно-голубых глаз.

А ведь вполне возможно, что письмо написал вовсе не он.

Не он?.. Как жаль... Пусть тот холоп некрасив и невиден собой, но сколько жара в его движении, в его взоре, сколько сердца вложил он в письмо!

– Попались, ага, попались! – заорал в это время кто-то дурным голосом за окошком, грубо вырвав Марианну из ее мечтаний. – Держи, уйдут!

Сестры враз высунулись наружу и увидели мелькание огней в темноте. Это были слуги, носившиеся с факелами в руках по лужайке, окаймленной живой изгородью, пытаясь угнаться за двумя проворными тенями, которые все время ловко уворачивались из множества цепких рук.

– Пся крев! – заорал в эту минуту чей-то перепуганный голос. – Побойтесь Бога, лайдаки!
¹⁵ То ж паны князя!

– Патер ностер, Матка Боска! ¹⁶ – пробормотала благочестивая Урсула, глядя на своего мужа, который в эту минуту выбирался из кустов вместе со своим старшим братом Адамом Вишневецким. – Что это значит, Константин?!

– Только то, что эти недоумки спугнули вора, который лез в ваше окошко, мои красавицы, – ответил князь Константин, принимая у слуги факел. – Мы шли к дому, как вдруг заметили его. Затаились, решили наброситься и поймать злодея, однако охотники сами стали добычей. Одно хорошо – вор тоже сбежал, ничего не успев украсть.

– Сказать правду, то был не совсем вор, – тонко усмехнулась княгиня. – Вор приходит, чтобы унести что-то, а сей неизвестный, напротив, принес в наш дом прибыль...

– Какую еще прибыль?

– А вот какую! – Проворная Урсула выхватила из рук сестры письмо и швырнула в окошко. – Смотрите!

Марианна только ахнула и возмущенно уставилась на княгиню, однако было уже поздно: братья схватились за листок и принялись разбирать неровные строки. Оба Вишневецкие были истые пятасты ¹⁷, а потому в чистом поле или в бальной зале отличались куда лучше, чем перед грифельной доской или чернильницей. Им потребовалось некоторое время, чтобы вникнуть в смысл короткого письма, и вот наконец братья враз вскинули головы и уставились друг на друга.

К своему изумлению, Марианна не обнаружила на их лицах возмущения и злости. Они смотрели азартно, словно охотники, которые спорят из-за добычи, или барышники, набавляющие цену на доброго коня.

– Опять он! – пробормотал Адам. – Я же говорил тебе, *carissime frater* ¹⁸, что он снова обьявится!

– Ты говорил! – фыркнул князь Константин. – Да ты не поверил ни одному слову того толстяка! Ты называл его и его товарища шарлатанами и безумцами.

– Во имя неба! – воззвала из окошка Урсула, которая уже не в силах была переносить неутоленное любопытство. – О чем вы говорите? Кто прислал это письмо?

– Знайте, прекраснейшие дамы, что при моем дворе завелся жалкий безумец, который возомнил себя не кем иным, как сыном великого русского царя, – пренебрежительно ответил князь Адам, глядя почему-то не в окошко, на женщин, а в темноту, таящуюся за живой изгородью. – Сначала он подослал ко мне своего сотоварища по бегству из Московии – толстяка и болтуна, который с жаром уговаривал меня пойти к ложу этого умирающего смерда, чтобы посмотреть на крест, якобы оставленный ему царственным отцом. По моему мнению, крест

¹⁵ Бездельники (польск.).

¹⁶ Отче наш (лат.), Матерь Божия (польск.).

¹⁷ То есть настоящие, чистокровные поляки – по имени династии Пястов, правившей в Польше в X – XVI вв.

¹⁸ Дорогой брат (лат.).

сей был бродягою где-то украден. Я так и сказал толстяку и велел задать ему хорошую порку. Теперь он валяется избитый на конюшне, а товарищ его чудным образом исцелился и куда-то исчез. Я думал, он сбежал из Брачина, однако сие письмо свидетельствует, что наш монашек – о, сударыни, я и забыл сообщить, что названный царевич на самом деле беглый русский монах, – хохотнул князь Адам, по-прежнему шныряя взором по кустам, – таится где-то здесь. И это очень глупо! – Вишневецкий несколько возвысил голос: – Потому что я послал за королевскими солдатами, чтобы арестовать этого человека и заключить его в тюрьму. Ведь мы находимся сейчас в состоянии мира с Московией и ни в коем случае не можем допустить, чтобы царя Бориса обвинили в незаконном захвате трона. Так что нашему монаху лучше бы подобрать полы своей рясы и дать отсюда деру, да поскорее! Кроме того, доподлинно известно, что больше десяти лет назад царевич Димитрий умер в Угличе, а значит, человек, написавший Марианне письмо, – отъявленный лжец, и я бы дорого дал, чтобы бросить обвинение в самозванстве ему в лицо! Думаю, выслушав меня, он скорчился бы, как раздавленный червь, и уполз в ту грязную лужу, откуда вылез!

– Ты ошибаешься, вельможный пан, – послышался спокойный голос, после чего кусты зашуршали и в свете факелов возник невысокий и худощавый, но широкоплечий человек, одетый просто, но с осанкою шляхтича. Его лицо, обрамленное рыжеватыми волосами, было бледным и изможденным, но темно-голубые глаза смотрели прямо.

Марианна прижала к губам узкую ладонь. Больше всего в это мгновение ее изумило то, что она верно угадала этого человека!

– Позволь сказать тебе, что Гжегош, раб и холоп твой, последовал бы твоему совету и ринулся бы спасти свою шкуру, воспользовавшись тем предупреждением, которое прозвучало в твоих словах. Думаю, так же поступил бы и беглый монах Григорий. Но царевичу Димитрию зазорно труса праздновать. Точно так же ему зазорно слушать те слова поношения, которые ты тут про меня говорил в присутствии знатных и прекрасных дам. А оттого прошу тебя, князь Адам, принять мой вызов! Драться будем на саблях или на пистолях – это уж как твоей душе угодно. После того, что было обо мне тут сказано, одному из нас нет места на земле Речи Посполитой и Московского царства. Вообще нет места на этой земле!

Мгновение князь Адам прямо смотрел в лицо этому человеку, потом повернулся к Константину:

– Ну, что скажешь, *carissime frater?*.. Каков, а? – и вдруг отвесил поклон этому хлопцу в мятой рубахе. – Сударь, прошу простить меня. Я не сошел с ума, чтобы стреляться с человеком, который так известен меткостью, как ты! Беру назад каждое слово, сказанное мною незадолго до этого, и уверяю, что говорил я так с единственной целью – проверить тебя. Видишь ли, я подозревал, что ты таишься где-то поблизости... Ты прав: человек подлого звания давно уже уносил бы ноги из Брачина. Но ты остался и не побоялся выйти против меня, хотя знал, что я могу приказать слугам схватить тебя и содрать кожу плетью заживо – за возмутительные речи, за то, наконец, что ты посмел обратиться с признаниями к благородной панне. Такая дерзость и смелость не могут быть свойственны быдлу – это гонор истинного дворянина. И если я пока еще не готов поверить, что ты сын Ивана Грозного и царевич, то я охотно верю в твое благородное происхождение.

– Почему же ты не веришь в то, что я царевич? Ведь Варлаам передал тебе мой крест!

– Возвращаю его. – Князь Адам с поклоном передал юноше крест, ослепительно сверкнувший в прихотливом свете факелов. – А что до царского происхождения... тут возникает слишком много вопросов. Например, как мог спастись царевич Димитрий? Ведь он умер и, согласно царской грамоте, похоронен в Угличе, в Успенском соборе...

– В Угличе нет Успенского собора, – прервал его голубоглазый незнакомец. – Это только одна ложь, распространяемая Борисом, и подобным наветам несть числа. Я готов разоблачить их все, все до единого – и пред тобой, князь, и пред братом твоим, и пред королем Сигизмун-

дом-Августом, и пред сеймом, у коего я намерен просить помощи. Но прежде... дозвожь мне прежде спросить тебя...

В его ровном, исполненном достоинства голосе впервые зазвучало волнение, и Вишневецкий насторожился:

– Изволь, спрашивай.

– Скажите, князь Адам и ты, князь Константин... ежели мне удастся доказать мое царское происхождение, смогу ли я тогда... – Он нервно сглотнул и выпалил сбивающимся, почти мальчишеским голосом: – Ежели б я был московский царевич, мог бы я получить руку панны Марианны?

Апрель 1605 года, Москва

– Что там поют? – крикнул царь. – Что поют?!

Семен Годунов, сопровождавший двоюродного брата при его выезде из дворца, резко качнулся к оконцу кареты, вслушался.

Калики перехожие ¹⁹, слепец с поводырем, в два жалостных голоса вели старинное песнопение:

Не лютая змея воздыбалася —
Воздыбался собака Калин-царь.
Грянул на землю на Русскую,
Грянул словно бы из тучи гром.
А в той земле во Русской
Жил-поживал богатырь молодой...

– Враки врут, – равнодушно сообщил Семен, оглядываясь на брата. – Обычное дело. А чего ты, государь, всполохнулся?

– Да так, почудилось, – отвел глаза Борис Федорович и откинулся на спинку сиденья. – Вели погонять.

– Не бойся, не опоздаем, – успокаивающе отозвался Семен Никитич. – Старая ведьма сказывала, будет сидеть как пришитая, ждать царя-батюшку, так что...

– Погоняй! – взвизгнул Годунов. – Кому говорено?!

Семен Никитич нахмурился, высунулся в окошко и нехотя шумнул возницам:

– А ну, прибавьте ходу, молодцы!

Борис Федорович смежил веки, хотя сейчас ему больше всего хотелось зажать руками уши. Сдавить крепко-крепко, чтобы не слышать дребезжания голосов:

Не лютая змея воздыбалася —
Воздыбался собака Калин-царь...

Ведь за этими незамысловатыми словами старинной песни чудились Годунову совсем другие слова!

Не лютая змея воздыбалася —
Воздыбался собака булатный нож.
Упал он ни на воду, ни на землю,
Упал он царевичу на белу грудь...
Убили же царевича Димитрия,
Убили его на Угличе,
На Угличе, на игрище.
Уж и как в том дворце черной ноченькой
Коршун свил гнездо с коршунятами...
Что коршун тот Годунов Борис,
Убивши царевича, сам на царство сел...

¹⁹ *Калики перехожие* – нищие бродяги, которые частенько зарабатывали пением былин.

Калика слепой, от которого Борис впервые услышал эту песню, давно сгнил в земле, но прежде того допел ее, сидя на колу. Вот уж сколько лет с тех пор прошло – семь, восемь? – а голос его, дребезжащий от муки, исполненный смертных слез, иной раз нет-нет да и зазвучит в ушах Бориса. Конечно, он знал, что в погибели царевича вина его, но впервые понял, что за это его не только осуждают, но и проклинают. В ту пору, когда прошло первое ослепление злобою, подвигнувшее расправиться с неосторожным каликой, Борис вскоре успокоился. Но ненадолго. Песен больше не слышал, однако и без них было тошно. Словно змеи, поползли с польских и литовских земель слухи о том, что объявился там какой-то человек, называющий себя Димитрием. Спасшимся в Угличе царевичем Димитрием!

Весть эта произвела на Годунова то же впечатление, какое производит удар разбойничьим ножом в темноте. Пораженный, тяжело раненный человек не вполне понимает, откуда исходит опасность, и слепо машет руками, пытаясь защититься.

Если он безоружен, движения его никому не приносят вреда. Если же вооружен, то разит куда ни попадая, не разбирая ни правого, ни виноватого, и тем больше крови льется вокруг, чем опаснее и смертоноснее его оружие.

В руках у Бориса была власть, царская власть.

Он вспоминал годы своего царствования, когда во прославление своего имени пытался быть добрым, миролюбивым царем, истинным отцом своим подданным. Но милосердие не принесло ему счастья и народной любви. Теперь Борис безуспешно пытался воротить невозвратное – прочность своего пошатнувшегося трона – и опять лил направо и налево кровь, чтобы нащупать след Димитрия, покончить с ним, а если нет возможности вновь перерезать горло ему (на сей раз наверняка, не давши промашки!), то сделать это с теми людьми, которые либо помогли спастись мальчишке, либо выставили некоего самозванца как знамя против царя Бориса Годунова.

Хуже всего было то, что он не мог прилюдно назвать причину своего страха, своей безумной жестокости. Казалось, произнесешь имя Димитрия вслух – и он тут же объявится, как черт, который незамедлительно возникает при одном только упоминании его. А еще хуже было то, что он и себе не мог признаться, что уверен в смерти Димитрия. Он не расспрашивал убийц его, а даже если бы видел их и слышал, все равно не мог бы поручиться, что в Угличе зарезали именно царевича, а не какого-то подмененного ребенка, как об этом шептались сейчас все, кому не лень. Клятвам Шуйского тоже не могло быть веры.

Борис думал: надо было тогда стереть с лица земли Углич, безжалостно пытаться всех Нагих после того, как услышал намек – всего лишь намек Горсея! – на то, что Димитрий мог спастись.

Не поверил хитрому иноземцу – вот и упустил из рук погибель свою. Теперь оставалось разить на ощупь, в темноте, не упуская ни правого, ни виноватого, без разбору, в надежде хотя бы случайно поразить тех, кто породил это чудовище, этот призрак.

Он не знал достоверно их имен. Он знал их общее имя и не раз готов был зарычать, совершенно так, как рычал некогда Грозный: «Бояр-ре!» Родовитая знать вся была против него, а потому Годунов не щадил никого, проливал моря и реки крови, от всей души желая, чтобы самозванец захлебнулся ею. Бельский, Романовы, Пушкины, Щелкаловы... несть числа жертвам! Но особого проку в том не было. Разве что ненависть народная обострялась. Ее возбуждали письма самозванца, привозимые из Литвы и Польши в мешках с зерном – по случаю неурожая. Ни грамота патриарха Иова, называвшая Димитрия монахом-расстригою Гришкой Отрепьевым, ни написанный каким-то монахом Варлаамом Извет²⁰, беспощадно обличавший самозванца и называвший его монахом-расстригою Гришкой Отрепьевым, ни обряд анафемы, совершенный торжественно во всех церквах Руси, не утихомирили слухов и не расположили к Борису сердце народное. Грамоте не верили: ведь всем было известно, что Иов – послушная

²⁰ Донесение (ст.-слав.).

глина в руках царевых. Вести об успехах Дмитрия, о его неудержимом продвижении к Москве возбуждали радость в народе. А Бориса они повергали в безумие...

Снова и снова воскрешал он в памяти события того далекого 1591 года. Твердо решив не отступаться от престола (пусть даже на нем сидел царь Федор Иванович, муж сестры Ирины), Годунов решил сначала посеять в народе отвращение к царевичу Дмитрию. Поскольку тот был сыном седьмой жены, рожденным в браке, не признаваемом церковью как законный, Борис с полным правом запретил молиться за него в церквях и упоминать его в здравницах наряду с другими членами царской семьи. Кроме того, по приказанию Годунова распространяли слухи, будто царевич жестокосерд и дурного нрава. Это отчасти соответствовало истине: слухи о том, что угличский узник бегаёт смотреть, как льется кровь зарезанных баранов, частенько приносились во дворец. Народу внушалось опасение: мол, добравшись до трона, царевич столь же сладострастно будет относиться к крови человеческой.

Но скоро Борис понял, что его старания очернить малолетнего Дмитрия напрасны. Незаконнорожденный или нет, он все-таки был для русских людей сыном своего отца, его плотью и кровью, а значит, за ним признавалось право царствовать. В глазах народа он был в этом праве несравнимо больше, чем какой-то там званый на царство (на безрыбье и рак рыба!) Годунов. Да и рассказы о злонаправлении царевича нельзя было испугать русских, всякого повидавших во время пребывания на троне его отца, Ивана Грозного. Народ искренне верил, что жестокий царь посылается народу в наказание за грехи и ему ничего не остается, как безропотно сносить кару небес и молить Бога о смягчении государева сердца. Так что Россия лишь терпела Годунова на троне, но всем существом своим ждала *настоящего* царя.

Борис же был *не настоящий*... и знал это.

Он всегда был суеверен; вот и теперь, в самые тягостные дни своей жизни, надумал обратиться за помощью к темным силам. Хотя не совсем к темным. Ведь Олёна-юродивая, совета которой ехал спросить царь, была не колдунья, не чернокнижница, не знахарка какая-нибудь отпетая, а богобоязненная женка, жестоко изнурявшая плоть свою суровыми постами и ношением жестоких вериг и цепей. Она славилась благочестием и жертвенностью, а оттого в подземелье под Пречистенской часовней на Рождественке, где она обитала, всегда сменялись при ней три или четыре монахини, ходившие за Олёной, чуть ли не насильно кормившие ее (не то юродивая померла бы с голоду) и сдерживавшие поток людей, которые желали бы получить благословение от юродивой или услышать ее предсказания. Говорили, все, что предскажет Олёна, непременно сбудется, потому что ее устами глаголет святой дух...

Стоило Борису ступить на подножку кареты, а с нее на раскинутый в грязи ковер, шитый золотой битью, как на земле зашевелилось нечто, поначалу принятое им за груды мусора или грязного тряпья. Однако у кучи обнаружилась всклокоченная голова, принакрытая обрывком мешковины (цвет торчащих из-под нее косм определить было невозможно), а потом и тело, едва прикрытое рубищем столь ветхим, что сквозь него сквозили кости, отчетливо выступающие из-под грязной до черноты кожи. Тотчас раздался звон цепей, и Борис понял, что перед ним знаменитая юродивая. Щиколотки и запястья ее были покрыты застарелыми кровавыми струпами, как это бывает у кандалников после долгого пути в железгах, а кое-где на изможденных конечностях заметны были язвы с опарышами.

Брезгливый до дрожи, до тошноты, Годунов едва подавил рвотную судорогу и невнятным, каким-то утробным голосом проговорил, не заботясь поздороваться с Олёной:

– Коли ты и впрямь все насквозь видишь, стало быть, ведаешь, зачем я к тебе явился. Так ли?

– Так, истинно так, – отвечала юродивая неожиданно звонким, по-девичьи чистым голосом.

Годунов недоверчиво взгляделся в щелочки глаз, почти неразличимые на ее морщинистом, опухшем, заскорузлом от грязи лице. Ему стало зябко от этого всепроникающего, цепкого взора.

Да, старая ведьма не лжет. Хотя почему ведьма, почему старая? Года ее никому не ведомы, а святость известна всем. Ну, словом, не лжет юродивая! А раз так...

– А раз так, знаешь, что хочу спросить у тебя? И ответ на мой вопрос знаешь?

– Знаю и то и другое, – кивнула Олёна головой, которая из-за повязанного на нее лоскута мешковины казалась непомерно большой по сравнению с тщедушным, плоским, словно бы полудетским телом. – Коли пожелаешь, дам тебе ответ, только раньше сам себе ответь – верно ли, что хочешь будущее проведать?

– Да, разумеется, – нетерпеливо бросил Борис и только тогда сообразил, что имела в виду Олёна.

А если она предскажет беду?..

Но обратного пути уже не было: Олёна смерила его непроницаемым взглядом, потом поднесла руки к голове и так постояла некоторое время. Руки ее были тонки, словно две обугленные веточки. Качнулась несколько раз, словно легкий порыв ветра был для нее непереносим, и сделала знак монахиня, стоявшей в почтительном отдалении. Та приблизилась. Олёна что-то проговорила слабым голосом, и монахиня обернулась к Борису:

– Велено твоим людям, государь, принести какое ни есть бревно и положить его вот здесь, перед церковью.

Борис оглянулся. Семен Никитич, стоявший тут же и ловивший каждое слово юродивой и каждое движение брата, все понял и отошел к кучке слуг, собравшихся невдалеке. Тотчас двое или трое ринулись к груде бревен, сложенных шагах в двадцати и назначенных, очевидно, для постройки дома (стены уже начали вязать), взяли одно бревно и, поднеся к церкви, почтительно и боязливо положили перед юродивой.

Олёна опять что-то едва слышно шепнула, а монахиня повторила громким голосом:

– Пусть все священники твои, государь, что задымили нас своими кадилами, приблизятся к бревну и кадят над ним.

Приказание было тотчас исполнено, хотя смысла его никто не понимал. Борис исподтишка поглядывал на замершую юродивую, на монахиню, ожидавшую ее знака, на брата Семена, который отчего-то сделался смертельно бледен.

И вдруг словно бы чья-то ледяная рука прошла по спине Бориса Федоровича, и потом ему чудилось, будто он понял смысл предсказания еще прежде, чем Олёна изрекла:

– Вот так же будешь ты лежать, недвижим словно бревно, и твои священники будут кадить над тобой!

А потом она осела на землю, где стояла, и снова замерла безгласной, равнодушной ко всему кучей ветхого тряпья.

Май 1591 года, Углич, дворец царевича Димитрия

С самого начала мая царевич все прихварывал. Василиса Волохова прослышала, есть-де знатный знахарь, лечит всех и все выздоравливают, – может, позвать его на царский двор?

Марья Федоровна побоялась принять решение сама, стала советоваться с братьями. Михаил, он был попроще, говорил: отчего не позвать? Афанасий, осторожный хитрован, помалкивал, потом уклончиво проронил: «Опасаясь я...»

Марья Федоровна понимающе кивнула: после того как они с царевичем отравились кислой капустой (то есть это так решили в конце концов: мол, капуста забродила, а в щах не проварилась), Афанасий никак не мог успокоиться: во всех, даже незначительных хворях сестры и царевича видел длинную руку проискливого Годунова. Уж береглись теперь так, что и сказать нельзя: всякое стряпанье Афоня велел Михаилу отведывать, да и сам не упускал случая пробу взять. А допусти в дом знахаря – за ним разве уследишь? Хорошо, если добрый человек, ну а как окажется в самом деле подсыл Годунова? С него, с хитреца Бориски, всякое станется.

Сама Марья Федоровна от этих мыслей минуты покоя не знала, с ними засыпала, с ними просыпалась, с ними вскакивала среди ночи, бессонно глядя во тьму. Страшилась не только за невинного ребенка – и за себя, и за братьев. Долгие годы, проведенные в напряжении, не прошли для нее даром: на некогда прекрасном лице застыло выражение непреходящей тревоги, черные глаза глядели испуганно, словно высматривали приближение опасности.

Да, ей всюду виделась опасность. Но все-таки подступы настоящей беды она проглядела...

Началось с того, что по приказу Годунова (якобы по государеву, однако всяк знал, откуда ветер дует!) царевича Димитрия и Марью Федоровну запретили поминать в церквах при постоянных здравицах в честь государевой семьи. Все чаще распространялся слух, что угличский поселенец вообще не может притязать на престол: сын от седьмой жены не считается законным ребенком и наследником.

Нагие были оскорблены, однако что они могли поделать? Обратиться к государю с челобитной? Но разве пробьется грамотка к Федору Ивановичу, минуя Бориску? Решили ждать удобного случая, а тем временем в Угличе появился дьяк Михаил Битяговский с сыном Данилою да племянником Никитой Качаловым.

Причина его приезда была вполне прилична: якобы хозяйством ведать. Марья Федоровна удивилась: нешто их хозяйство плохо блюдетя? Видать, Битяговский думал, что плохо, иначе почему бы слонялся день-деньской по всем закоулкам дворца, все вынюхивал и выглядывал? Как наткнешься на него в темном коридоре – невольно за сердце схватишься. Рожа-то у него – словно бы и родного отца сейчас зарезал бы, сущий зверь! Да и сынок с племянником таковы же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.